

ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ



ТЕНЬ ФИЛИНА

РОМАН*

Когда началась эта река? Бог знает... Из болота лесного, гиблого — ручьём сочится. Вот уже и речушка. Вот и река — в берегах дремучих, где высоких, а где пологих. Небольшая, да и не маленькая. Название оканчивается на “га”, как и у сотен ближних рек и ручьёв.

Несёт река свою воду, отражает берега и небо, как положено, вливается в другую реку, а та — ещё в другую, а та уже — в студёное океан-море...

Когда осели на её берегах люди? Река не скажет, а люди не помнят. Люди живут. Люди пашут и строят. Люди ловят рыбу и бьют зверя. Люди любят и ненавидят. Люди оплакивают своих мертвецов и свои умершие деревни. И снова строят, и пашут, и любят, и умирают... Всему есть место на берегах реки. Вода её — время. Небо, отражённое водой, — вечность...

Глава первая

1

Сначала, с грохотом сшибаясь на излуках, уплыли громоздкие льдины, потом ещё долго проплывали серые ноздреватые льдины-оскрёбыши...

Тяжёлое серое небо придавило землю и воду.

* Журнальный вариант

ЕРМАКОВ Дмитрий Анатольевич родился в 1969 году в Вологде. После школы служил в армии, занимался спортом. Рассказы, повести публиковались в журналах “Наш современник”, “Алтай”, “Подъём”, “Москва”, “Воин России” и других. Лауреат конкурса им. В. Шукшина “Светлые души”. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.

И по большой, плоской, придавленной небом воде увозили бабушку...

Снега в ту зиму выпало много, он таял, река разбухала, заливала берега. Теперь уж до следующего льда — из Ивановки, с Красного Берега, в большой мир — лишь в объезд, крюк десять вёрст до моста, либо на лодках и плотках.

А говорят, что и мост снесло...

Васятка стоял на берегу, смотрел, как удаляется плот, посреди которого — гроб. Плот качался, мужики с трудом выгребали поперёк течения... Казалось — гроб вот-вот соскользнёт в воду, и бабушка утонет. За мужиков он не боялся — они живые.

От берега отчалили ещё три лодки, в одной из которых и мама. Все едут прощаться с бабушкой. Там, на том берегу, у церкви, её зароят в землю. И в подтверждение этой неизбежности с того берега, от колокольни плывёт тягучий печальный звон.

Голые вички затопленных ив торчат из воды, как вешки. Лодки плывут между ними, направляемые гребцами, отяжелённые молчаливыми людьми в тёмной одежде.

— Пойдём-ка, Васятка, домой. Неровён час — продует, заболеешь, — по-взрослому говорит сестра Полина, ради него оставленная дома.

По грязной, размокшей, истолчённой десятками ног дороге возвращались они к родной избе...

Ивановка — три десятка домов. Пять из них — вдоль реки, остальные двумя рядами уходят вглубь берега. Серебристые, будто инеем подёрнутые стены бань и сараев; тёмные, высокие, в одной связи с обширными дворами избы с полукруглыми поверху окнами, со скупой резьбой наличников и застрех; драочные чёрные крыши... Всё сейчас хмурое и тяжёлое, как небо...

Снег ещё кое-где остался в тени кустов, под глухими стенами амбаров и бань, но всё в природе уже готово к новому кругу, ждёт сокровенного мига... А бабушка их, Аграфена Ивановна Игнатьева, ушла в другой мир, в ту неведомую жизнь, в которую и верила, и будто бы уже прозревала незрячими в этом мире глазами...

...Бабушка уже давно, сколько он помнил, ничего не видела. Она сидела в своём уголке за печкой, там и спала на лавке, рассказывала сказки да “про прошлую жизнь” сперва внучке Полине, а когда та подросла и всё чаще стала уходить из дома на взрослую уже работу либо вечерами с прялкой к кому из подружек, стала бабушка внуку Васе те же побасёнки бухтить... Ещё песни пела — очень хорошо, и на праздниках, бывало, просили её особо и слушали все сидевшие за длинным столом...

В тот день никого в избе не случилось — отец у них на войне, Полина — по своим девичьим делам где-то, мать со скотиной обряжалась. Бабушка сидела тихо и как-то особенно, что-то творилось в ней... Позвала: “Васятка, иди-ка сюда, милой...” Он подошёл, думая, что бабушка расскажет сказку, но она молчала, только гладила его по голове твёрдой сухой ладонью. “Бабушка, а спой песню”. — “Не до песен мне сегодня, милой”. — “А хочешь, я тебе стопочку налью?” — спросил Васятка. Он знал, где стоит у матери бражка, а стопка в доме одна — серебряная, с надписью по кругу: “Выпить пора — ура!” Отцовская, вернее, дедовская ещё, подаренная ему воздвиженским барином в старые годы за что-то... “А и то! Налей-ка мне, Васятка... Больше-то не пивать”. Он уже знал действие браги. На праздниках, когда просили бабушку спеть, всегда перед тем наливали.

И бабушка выпила.

— Про Мальвину, бабушка! — попросил Васятка.

— Балладу-то... ну, давай балладу...

Песня та странная, не крестьянская, и называли её почему-то “баллада”. А бабушка её ещё по молодости под окном барской дочки пела — любила та... А научила той песне повариха, из Петербурга привезённая... Всё это тоже рассказывала она внучке и внуку...

Бабушка уперлась обеими руками в край лавки, будто вглядываясь во что-то невидящими глазами, негромким ровным голосом запела, чуть покачиваясь...

*Бедный рыцарь всё стремился
Ко Мальвине молодой,
А Мальвину обряжали,
Жертву бедную, к венцу.
— Вы, подружки, подождите,
Дайте сердцу погрузиться,
Вы, любимые, скажите,
Как мне рыцаря забыть?
Что же делать?.. Дам я руку,
С кем родитель повелел...
В церкви всё было готово,
Их священник ждал давно...*

Голос бабушки креп, набирал силу, и расправлялась её давно, казалось, навечно согнутая спина, и она будто не здесь уже была, а там — в песне...

*В замке что за освещение?
Рыцарь к замку прискакал.
На нём шлем надет пернатый,
Меч на ленте голубой.
Поздно, поздно, гость незванный,
Поздно, рыцарь молодой.
— За измену — нет, не поздно!
Рыцарь саблю обнажил...
И блестящая — взвилась!
С плеч скатилась голова...
Вся толпа заговорила,
Что Мальвина умерла.*

— Мать, да ты что? — Васяткина мать вернулась. — Что это бабушка-то у нас?..

— Верка, посылай за попом, пора мне... — тихо ответила бабушка, тяжело легла и больше уже не встала...

...Дома Полина дала Васятке кусок пирога с картошкой, налила в чашку кипятка. Села у окна за пядьцы. А Васятка уплёл пирог, влез на тёплую печку и там лепил из прихваченного с улицы кома глины фигурки — человека, собаку, кошку...

После полудня вернулись с того берега (уплывали-то совсем рано утром). Полина выставила кутью, приготовила посуду. Среди приехавших был и жандармский, кажется, офицер. Молоденький и какой-то, хоть и при форме, не воинственный, может, из-за очков, которые всё время сползали с переносицы, или из-за смешно подкрученных, не идущих ему усов...

Впрочем, жандармский ротмистр Иван Алексеевич Сажин приехал, конечно, не ради поминок древней незнакомой ему старухи. Но подвернувшейся оказией в Ивановку воспользовался. Он приезжал в село Воздвиженье в гости к подполковнику Зуеву и для разговора и пригляда за местным священником отцом Николаем, организовавшим в селе “крестьянскую чайную” и яростно боровшимся с пьянством среди своих прихожан. А в Ивановке хотел проведать ротмистр Сажин ссыльного поселенца Потапенко.

И тут, в Ивановке, выяснилось, что ссыльного никто не видел уже два дня...

В дом Игнатьевых заходили соседи — выпивали рюмку, заедали кутьёй. “Земля пухом и вечная память”, — говорили, либо что-то подобное, и уходили: не принято на поминках расслаивать... Мужиков мало, тех, кто в силе да возрасте, война призвала, уже третий год как. Остались недоростки, переростки да негодные к службе, как отцов брат дядя Михаил с покалеченной, перебитой ещё по молодости и неровно сросшейся, усохшей левой рукой.

— Васька, а ты чего там забился-то? — захотел, видно, приободрить дядя племянника, отдернув занавеску, глянул на печь. — Ну, ты чего, спишь?..

— Нет, божатко...

— Верка, глянь парня-то, не заболел ли? — что-то насторожило Михаила Игнатьева в Васяткином голосе.

Ротмистр Сажин тоже выпил рюмку за помин души новопреставленной и, разместившись в отведённой ему горенке, вызвал через хозяйкину дочь старика Кочерыгу.

Тот одиноко жил в кособокой избёнке на отшибе — рыбак и охотник, к которому относились все, с одной стороны, шутливо-презрительно, чему подтверждением и неблагозвучное прозвище, данное за то, что он не работал на земле; с другой стороны, уважительно, потому что в своём деле — охоте и рыбалке, в знании реки и леса — он был главный знаток во всей красноречивой округе.

— Здравствуй-здравствуй, Егор Емельянович, — повеличал его Сажин, привычно подкручивая концы усов и поправляя очки в тонкой оправе. — Скажи-ка мне, куда и каким образом ушёл ссыльный Потапенко?

— Да, ваше благородие, — старик почесал бороду большой чёрной ладонью, вроде как задумался и неторопливо продолжил, — сам же знаешь, только по воде. А потому как лодки ничьи не пропали...

— На плоту... Рисковый человек.

— Отчаянная голова, — подтвердил охотник.

— А вот, я слышал, он с тобой любил поговорить, даже и на охоту хаживал?

— Говорить особо не говорили, он молчун, да и я болтовню не люблю. На охоту пару раз брал. Да разве ж то охота — баловство...

— Так, может, скажешь, и докуда поплыл?

— Опять же, ваше благородие, — сам знаешь. На чуточку ему надо, стало быть...

— Я-то знаю, а ты почему хотя бы старосте не донёс?

— Я за ссыльным не надсмотрщик. А что он пропал — только сегодня от вашего благородия узнал, — гордо вздёрнув пегую бородёнку, ответил Кочерыга.

— Ну, ладно-ладно... Слушай-ка, белки есть у тебя, ну, шкурки? Только чтоб хорошей выделки. Мне на шапку, жене.

— Есть, — на этот раз с явной заинтересованностью ответил старик.

— Ну, мне бы поглядеть. Принесёшь?

— Отчего ж не принести. Принесу. А выделка у меня, сами знаете, наипервейшая...

— Ну, давай, давай. Я хорошо заплачу.

И ротмистр в ожидании охотника со шкурками выпил ещё чаю и распорядился готовить постель. Торопиться с поимкой ссыльного не имело смысла — он наверняка уже подъезжал к Петрограду...

Утром Сажин опять выпил в избе стакан чаю. Кликнул Васятку:

— Покажи-ка мне, оголец, где ссыльный-то жил...

Мать, тронув лоб Васятки тыльной стороной ладони и ничего не сказав, ушла оправлять скотину. Полина ради гостя была ещё дома — грела самовар...

Мальчишка шмыгнул носом и, видимо, переборов опаску, взглянул прямо на офицера, спросил:

— А у тебя там наган есть? — кивнул на пристёгнутую к португее кобуру.

Полина, услышав от печи разговор, опасно окликнула:

— Васятка...

Сажин, усмехнувшись, поправил очки, молча достал из кобуры револьвер:

— А ты как думал? — и убрал оружие. — Не бойся, барышня, — подмигнул он Полине.

— Я и не боюсь! — вспыхнув щеками, откликнулась девушка. — Только нелзя ему, с вечера, чуялось, заболит.

— Ничего я, Поля, и не заболит, — отвечал Васятка, уже натягивая сапожонки, запахивая вытертый короткий тулупчик и напяливая шапку. — Провожу дяденьку, да и всё, ничего я не болею...

И Васятка повёл офицера к старой куликовской бане, где и обитал за небольшую плату ссыльный Потапенко.

Впрочем, было в бане довольно чисто. В предбаннике пусто, лишь обтрёпанный голик в углу, дальше, в мочной, переделанной в жилую комнату, — банная печка с котлом, обложенным камнями; стол перед окошечком с мутным стеклом, широкая лавка с набитым сеном матрасом, на столе — пустая деревянная солонка и какая-то мятая книжка, вырванная из переплётки... И ещё чувствовался запах табака — ссыльный много курил.

— Слушай-ка, как тебя... Васятка? — окликнул мальчишку Сажин, убирая книжку, забытую ссыльным, в полевую офицерскую сумку.

— Угу, — опять шмыгнув носом, подтвердил мальчишка, опасливо заглядывавший через порог в бывшую баню.

— Васятка, а где-то тут у вас есть какой-то Марьин камень?

— Угу.

— Можешь показать?

— А стрелнуть дашь? — на этот раз не задумываясь, спросил Васятка.

— Да, — просто ответил ротмистр.

Сажин зачем-то ещё заглянул под лавку, выпрямился, оправил портупею, привычно надвинул указательным пальцем правой руки очки на переносицу и вышагнул в предбанник.

По раскишей дороге вышли за деревню. Слева были поля, и сразу бросались в глаза полосы озимых в зеленоватой дымке, по ним деловито расхаживали грачи, как заведённые опускали головы к пашне и сразу поднимали, и снова опускали... Густо пахло навозом... Справа от дороги — пологий спуск к реке, с клочками жухлой прошлогодней травы и пробивавшимися кое-где зелёными волосками травы нынешней. Дорога потянула вверх, началось мелколесье, кустарник. Тропка свернула с дороги влево, круто в гору. Васятка бежал впереди, бойко шлёпая растоптанной обуткой по лужам. Сажин тоже особо не выбирал дорогу, — бесполезно, — только старался не смотреть на свои хромовые сапоги.

Тропу обступили высокие деревья — берёзы, ели. Наконец выбрались на макушку угора — голую полянку с огромным камнем-валуном посередине.

С трёх сторон поляну охватывал негустой лес, а четвёртая была распахнута на реку и заречное село Воздвиженье, раскинувшееся вдоль реки и вглубь берега. Воздвиженский храм с колокольной белел стенами, тянулся крестами к небу прямо напротив угора.

— Вот он и есть, Марьин камень, — сказал Васятка, шмыгнув опять носом и с интересом уставился на Сажина, думая, наверное: “И чего это офицеру тут надо?”

Ротмистр оглядел камень — древний, кое-где покрытый бело-зелёным лишаем, с чётким чашеподобным углублением в верхней части. Камень явно был когда-то специально поднят на эту гору от реки, берега которой изобиловали подобными валунами, правда, меньшего размера. Сажин и размер прикинул, достав из сумки моток бечёвки, — диаметр и высоту узелками отметил. Васятка увлечённо помогал ему...

— Дяденька, — спросил, — а ты зачем камень меряешь?

— Это, брат, похоже, не простой камень. Не всегда ведь и мы, русские, христианами были, молились вот на таких горках у таких камней своим богам твои предки... Напишу в книжке про ваш камень.

Сажин действительно уже предвкушал, как возьмётся за статью об этом камне для губернского археологического сборника, готовящегося к изданию в этом году, и для губернской газеты. Иван Алексеевич Сажин был активным членом кружка любителей археологии и краеведения.

Васятка мало что понял из его объяснения, но не забыл про пистолет.

— Ну, давай, пробуй. — Сажин неторопливо протёр стёкла очков платком, достал оружие, взвёл курок, встал позади мальчишки, револьвер вложил в его руки, но и сам придерживал, помог навести на разлапистую сосну, кора которой была похожа на чешуйчатый, местами растрескавшийся панцирь. Грохнул выстрел. Пуля, смахнув попутно макушку молодой берёзки, плотно вцепилась в сосновый ствол. А из кроны вдруг сорвалась большая

круглоголовая птица и проплыла над мужчиной и мальчиком, опавнув их широкими крыльями...

...Впереди шёл высокий седой старик, облачённый в длинную, до колен, белую рубаху, перехваченную по поясу зелёным кушаком в какой-то сложной вышивке. На подоле, на рукавах, широких и длинных, и на горловине рубахи — тоже вышивка. Длинные седые пряди перехвачены кожаным ремешком, опирается старик на резной посох с навершием в виде круглоголовой птицы с полурасправленными широкими крыльями. За ним под руки ведут девушку в венке из луговых цветов, в длинной, до пят, рубахе. Идёт она будто бы в полусне, с прижмуренными глазами, и на губах её — смутная улыбка. Ведут её две старухи, сторбленные, косматые... За ними — толпа мужиков, баб, детей... Но у рощицы перед угором все останавливаются. Тут девушка оборачивается, говорит что-то, кланяется до земли, и все люди кланяются ей... Все что-то говорят или поют, но ничего не слышно. Звуки не проходят сквозь уплотнённый воздух. Дальше, на угор, где лежит камень, идут лишь старик-волхв и девица, ведомая старухами... И застилает всё туман, а когда рассеивается — открываются огромные костры вокруг камня, девушки и парни прыгают через огонь, и убегают они в черноту ночи от костров под угор, к реке... И опять туман за клубился, и откуда-то издалека, из дымки туманной идут люди с неразличимыми лицами, в белых одеждах, женщины — в рубахах до земли, мужчины — в подпоясанных рубахах и портках. Идут, идут на него, Васятку (он как будто бы очнулся, осознавал, что это он всё видит и понимает), и вдруг, остановившись, кланяются ему низко, разворачиваются и уходят, уходят в дымку, в туман, не видны уже...

Мальчишка очнулся, попытался встать и не смог. Сажин подхватил его. — Что ты, брат, что ты... — и снова шлёпнул его по щекам.

Васятка потряс головой, стряхивая с себя морок, и, отстраняясь от офицера, встал на ноги.

— Пойдёмте домой, — твёрдо, по-взрослому сказал он.

— Ну, пойдём, пойдём. Напугал ты меня...

В доме Сажин расплатился за постой с Верой Егоровной и пошёл к Кочерыге, с которым ещё с вечера сговорился о перевозе в Воздвиженье...

...И уже лежит Васятка, внутренним жаром горя, что-то шепчут его губы, и он всё скидывает с себя отцовский тулуп. А мать тулуп поправляет, приподнимает голову, даёт питьё. Зовёт Полину:

— Послушай, чего он бормочет-то, ничего я, дак, не разберу.

Полина садится рядом с братом (он сейчас лежит на той самой лавке за печью, на которой доживала свои дни бабушка), тоже оправляет на нём тулуп, силится понять слова.

— Это я... из-за меня... Из-за меня...

Поняла сестра, вспомнив рассказ матери о последней бабкиной “стопочке”:

— Себя он винит. Жалеет бабушку.

— Ой, мило-ой... — вскидывается будто для плача мать, но сама себя осекает.

Ночью уж, в темноте спускается Полина с печи к Васятке (мать спит на кровати), трогает горячий его лоб, касается вялой сухой ладонки и вдруг, перекрестившись торопливо, прикрыв глаза, положив снова ладонь на лоб ему, шепчет то, что слышала от бабушки, когда та выхаживала её, Полину, больную: “В океяне-море пуп морской, на том пупе — бел-горюч камень Олатырь, на бел-горюч камне Олатыре сидит белая птица, залетала тая белая птица к рабу Божиему Василию и садилась на буйну голову, на самое темя, золотым клювом выклёвывала, серебряными когтями выцарапывала, белыми крыльями отмахивала привороты, и наговоры, и всяку немочь за си-не океян-море, под бел-горюч камень, под морской пуп! Так тому и быти, аминь!” И губами к горячему лбу его приложила, и крестом осенила...

Восемь дней лежал Васятка в бреду и не знал о том.

...Очнувшись, он сперва не понял, где он и что с ним... Лежал он на той же лавке за печкой. В доме было тихо, и было даже слышно, как на дворе перестукивает копытцами телёнок... Где были сестра и мать, Васятка не

знал. Приподнялся, увидел рядом с лавкой, на табуретке, чашку, попил. Квас. Покачиваясь, встал и пошёл на крыльцо. Солнечный свет ослепил, опьянил воздух. Васятка едва снова не потерял сознание...

2

Иван Сергеевич Потапенко, потомственный питерский пролетарий с малороссийскими корнями, побывавший и членом гапоновской организации, и эсером, с 1912-го — член РСДРП.

В тот вечер он старался всё сделать так, как подсказал ему старик Кочерыга.

Плот на воду столкнул уже в темноте, сначала вёл его вдоль самого берега, а за первым поворотом стал править через реку: именно здесь, по словам старого рыбака, нужно было переплыть к другому берегу. Длинный шест почти весь уходил в воду, но всё же доставал до дна даже на середине — не соврал старик. Отчаянно толкаясь от дна, он пересекал реку, второй, запасной шест лежал у ног, и всё же соскользнул в воду при опасном наклоне плота. Весь небогатый скарб беглеца в заплечном мешке — даже если Потапенко свалится в воду, мешок при нём останется... Но не свалился, вытолкнул плот на спокойную воду у противоположного берега, теперь вдоль него поплыл.

Мост был построен в узкой горловине, сейчас лишь сваи торчали из воды, сжатой высокими берегами бурлившей, бесившейся реки... Потапенко понял, что здесь не пройти на плоту. (Вспомнил слова Кочерыги: “Как к тому-то берегу переплывёшь — всё гляди вперёд, увидишь часовенку и приставай, дальше негде будет — расшибёт о сваи”. Вон часовня-то совсем рядом уже...) Пытался прибиться к берегу, но не смог, плот садануло о сваю, и необоримая сила скинула Ивана Потапенко в ледяную воду. Он сперва всё же ухватился за склизкую сваю, успел оценить своё положение — берег рядом, но крутой, обрывистый, ухватиться не за что, не выбраться, и, глянув вперёд, Иван Сергеевич оттолкнулся, отдался течению. Его чуть не пронесло мимо отмели на излучке реки, из последних сил выгреб он к плоскому берегу, на карачках выполз на глинистую землю, лёг. Но сразу поднялся, заставил себя сначала идти, а потом и бежать, чтобы не простудиться... Темно было, небо туго затянуто тучами — ни звезды... Он продрался сквозь прибрежные хлёткие кусты. Перед ним было поле, слева — чёрной стеной — лес, а справа, вниз по реке, почудились очертания домов, и он побежал в ту сторону. Вот уж и крайняя изба видна, и свет тусклый лучинный в окне чуется. Потапенко не стал искать калитку, под жердину огорода подлез. “Хорошо, собаки нет”, — подумал он, поднялся по скользким ступеням крыльца, на верхней оскользнулся, ударился коленом, встал. Стукнул несильно в дверь, потом ещё — посильнее, услышал шаги.

— Кто там? — спросил грубый женский голос.

— Откройте, пожалуйста. Мне бы обсохнуть. Я заплачу.

Послышался звук сдвигаемого засова...

...Месяц пролежал Иван Потапенко в доме Ульяны Шаравиной. Похоронку на мужа получила она ещё в конце четырнадцатого. Жила со старухой матерью и двухлетним сыном. У зятя и свекрови не осталась. Не любили они невестку за то, что Пётр их взял её самочинно, да и бесприданную. Как получила похоронку, отгоревала положенный срок и в материн дом вернулась.

Месяц выхаживала она Ивана, строго наказав матери никому не говорить. Да та по немощи и не выходила из избы, но за внучком как-никак приглядывала. Всё хозяйство, хоть и не ражее, на Ульяне было.

...Иван выплывал из жаркого марева... Радужные круги разбегались в глазах... Усилием воли он будто утвердился на твёрдой почве, остановил это покачивание... Он увидел глаза, любопытные, озорные и испуганные одновременно, уставившиеся на него. Мальчонка, кроха совсем, в рубашонке до пола. И Потапенко, усмехнувшись через силу, выдавил из себя:

— Здорово, пострел... Где мамка-то?..

Глазёнки округлились в удивлении. И вдруг мальчонка ткнул в него пальчиком:

— Тятя!..

Тут и Ульяна вошла. Потапенко сейчас будто впервые увидел её. Помнил из той ночи, когда явился сюда, только голос, сильные руки да ещё как коснулася его щеки выбившаяся из-под платка прядка...

— Здравствуй, хозяйка... Извини уж...

И вдруг откуда-то из невидимого угла — хриплый старушечий голос:

— Ульянка, ожил, чё ли?

— Ожил.

Иван Потапенко, переболевший, как сам понял, воспалением лёгких, благодаря Ульяниным заботам, травяным отварам да тёплой печке был здоров, но покидать дом не торопился. Да и она не гнала...

3

В июле Сажины собрались в губернский город — Иван Алексеевич получил очередной отпуск по службе. Поженились они только-только весной после Пасхи, и даже свадебного путешествия у них до сих пор не было — война, служба, не до того... И вот собрались. У Ирины в городе замужем сестра, хотелось встретиться, хотелось посетить театр... Поехали.

Тёмно-зелёные вагоны, чёрные металлические подножки, рукояти на входе в вагон с набалдашниками в виде двуглавых орлов, запах угля, звон станционного колокола, близость другу друга пьянили их... И поездка в давно, в общем-то, знакомый и вполне спокойный даже по военному времени город виделась и была для них счастьем, как счастьем были все четыре месяца их новой совместной жизни...

В купе Ирина села на мягкий, с бархатистой обивкой диван, в уголок, в полумрак и оттуда посверкивала счастливо смеющимися глазами на мужа, устраивающего на багажной полке баул и чемодан... Она не стала раздвигать задёрнутые шторы на окне, сразу как бы отделившись от законного мира. Иван сел не рядом с ней, а напротив, через столик, и внимательно посмотрел в её глаза, и она ответила таким же взглядом. Звякнул на перроне колокол для отправления их поезда, и он мягко тронулся... Они говорили и молчали, и снова говорили... Иван не стал курить в купе и вышел в тамбур. Там у окна с папиросой в руке стоял невысокий коренастый мужчина в приличном, хотя и явно недорогом костюме-тройке, с гладко зачёсанными назад волосами, с усами, висящими по-сомовьи.

Сначала они отвернулись друг от друга, оттолкнулись взглядами. Но одновременно и повернулись друг к другу снова.

— Здравствуйте, господин Потапенко.

— Здравствуйте, господин Сажин.

— Признаюсь, не ожидал. Был уверен, что вы уже в столице.

— Не получилось сразу. Извините, если не оправдал надежд, — усмехнулся Потапенко. При этом он лихорадочно соображал, что делать — выйти из поезда на ближайшем полустанке или пытаться уйти от полиции уже в губернском городе, или...

— В Москву всё же? — спросил спокойно Сажин, выпуская дым тонкой струйкой (он тоже решал для себя, что делать).

— Да.

— А мы с женой в губернию...

С гудением и стуком надвинулся и полетел параллельно встречный состав. Вагоны с оконцами, в которые видно стриженные головы, платформы с зачехлёнными орудиями — воинский эшелон.

— Два года длится небывалая в истории мировая бойня. И власть, которой вы служите, ротмистр, не в состоянии остановить её ни победой, ни какими-либо другими средствами... Сами гибнут и народ губят! — сказал, сминая в плоских пальцах мундштук папиросы, Потапенко.

— А вы, окажись власть в ваших руках, сумели бы это остановить?

— Это первоочередная задача нашей партии... Да, — вскинулся Потапенко, — чуть не забыл — я читал вашу статью в газете, о Марьином камне, о язычестве... Честное слово, господин Сажин, занимались бы вы историей, как вас в жандармы-то угораздило...

Сажин докурил папиросу, смял пустой мундштук и бросил в пепельницу, вынул из кармана платок, снял и протёр очки:

— В жандармы меня угораздило по воле отца и молодому романтизму, а история и археология... Не знаю... Любое дело требует полной самоотдачи. Я же, скажу вам честно, ленив и более всего хочу покоя душевного, который и нахожу отчасти в своих исторических занятиях — вот так, пожалуй... — Он усмехнулся невесело и, твёрдо прерывая затянувшийся разговор, сказал: — Что ж, удачи, господин Потапенко.

— И вам всего доброго, — ответил Иван Сергеевич и, раскрыв дверь, ведущую в соседний вагон, шагнул туда, в грохочущий и неустойчивый межвагонный переход...

Сажин вернулся в купе. Ирина глядела из своего уголка испуганно.

— Ваня, почему ты так долго? Мне страшно... Этот состав, солдаты... Их всех убьют... Я знаю — их убьют...

— Ну, что ты, не бойся, родная... — ротмистр Сажин впервые наблюдал неожиданную истерику жены.

...Ирина успокоилась. Мерный перестук колёс, плавное покачивание вагона и его равномерное вздрагивание на стыках рельс, привычные виды северной России за окном — поля, леса, деревеньки, речки и снова поля и леса, — близкий, но, оказывается, ещё не совсем, не до доньшка души знакомый человек, с которым жить и жить, — всё успокаивало и наведало думы о счастье. И не верилось, что где-то идёт война, и горе, как ветер, носится над этой землёй...

Они попили чаю. Ирина прилегла на диване, подложив под голову подушку, взяла какую-то книгу... Иван Сажин раскрыл кожаный портфель, достал недавний номер губернской газеты. Как всякий начинающий автор (а это была всего лишь вторая его публикация в прессе), он переживал и не до конца верил, что это его мысли, записанные его рукой, облечены в печатную форму и выставлены на всеобщее обозрение. Он, немножко стыдясь жены, но и будучи не в силах отказать себе в этом, развернул газету и перечитал свою статью...

“...То, что протославянский язык близко родствен санскриту, уже давно не вызывает сомнения у специалистов в этой области (одна из наиболее серьёзных работ на эту тему — “О сродстве языка славянского с санскритским” г. Гильфердинга опубликована ещё в 1853 году).

Вновь убедился я в правоте этих выводов, побывав недавно в одном из отдалённых уездов нашей губернии, в месте, носящем поэтическое и безусловно древнее название Красный Берег. Название протекающей там речки, как и сотен других речек, ручьёв и рек в наших краях, оканчивается на слог “га”. В санскрите же, как известно, “га” — это движение. (Не отсюда ли и “нога” или “го(га)-ра”? Предположу, что “гора” (“гара”) есть — движение к солнцу (“ра” — солнце)... Впрочем, подобные предположения далеко могут увлечь нас в наших мечтах... Но ещё языковое наблюдение: выражение “трава-мурава”, повсеместно употребляемое на русском севере, фактически повторяется в санскрите, где слово “мурава” и обозначает “трава”... Следственно, арии, пришедшие на полуостров Индостан несколько тысяч лет назад, говорили на языке, остатки которого ощутимы и в языке нынешних жителей русского севера и, в частности, Красного Берега. Говорю “остатки”, но нынешний русский язык и его северные диалекты не есть ли тот самый древний праязык, лишь видоизменившийся в силу естественной эволюции? Недавние же работы индийских и английских авторов, переводчиков и комментаторов “Вед” и вовсе поражают. Оказывается, в древнейших арийских текстах описываются приполярные и северорусские реалии: полярные ночи зимой и белые ночи летом, стоящая над головой Полярная звезда, северное сияние — всё это могло придти в древнейшие индоарийские тексты лишь при условии длительного проживания именно в наших и более северных широтах...

Так что же за люди жили на месте нынешней “краснобережной” деревни Ивановки (название явно “молодое”), следы древней культуры которых удалось мне обнаружить? Неподалёку от деревни, на возвышенном берегу реки, называемом в той местности угором, на самой верхней его точке есть полянка, окружённая лесом. Поляна эта, смею предположить, искусственно происхождения, то есть когда-то на самой макушке угора деревья были специально вырублены. Посреди поляны и сейчас лежит огромный камень, именуемый в народе “Марьин камень”.

Само по себе то, что камень имеет название, уже говорит о том, что это не простой камень. А слово “Марьин” хотя и относится сейчас более к христианской традиции (например, по информации г. Угрюмова, опубликованной в прошлогоднем выпуске “Губернского археологического вестника”, в одном из уездов подобный же камень называют “Богородициным”), на самом же деле имеет гораздо более древнюю этимологию: “мор”, “мора”, “морена” — древнейшие слова, обозначающие смерть, а может быть, и богиню смерти у древних ариев (а я убеждён, что на Красном Берегу жили именно арии — пранарод, носитель праязыка)... Но слог “ма” (возможно, корень, а не слог) может указывать и на древнюю богиню урожая Макошь (она же, по всей видимости, и “мать-сыра земля”), одну из самых почитаемых у древних славян. Тем более что камень всё же явно связан с женской, возможно, жертвенной обрядностью.

Исходя из географии места, очевидно, что камень на гору был поднят от реки, где, кстати, подобные камни-валуны, наследие ледника, находятся в изобилии...”

Далее шли размеры камня, ещё некоторые данные и размышления автора... Сейчас, перечитывая статью, он видел её недостатки — многословие, неточности... И всё же — напечатали ведь! Сажин зачем-то поднёс газету к самому лицу и... с наслаждением вдохнул запах типографской краски.

Ирина спала, по-детски подложив ладони под щеку, подогнув ноги, обтянутые серой шерстяной юбкой. Иван достал из чемодана плед, укрыл жену и сел рядом с нею...

Ольга, сестра Ирины, и Константин Сергеевич Маринов, её муж, пехотный офицер, встречали Сажиных на перроне вокзала. Сёстры обнялись. Мужчины пожали руки. Носильщик с бородой-лопатой и тусклой бляхой на тёмно-синем фартуке уложил на тележку вещи приезжих и деловито покатил их к выходу с перрона.

Рядом разгружался санитарный поезд. Медбратья — молодые ребята в военной форме с крестами на фуражках — несли носилки, ходячие раненые — с подвязанными руками, забинтованными головами — шли сами. Пожилой солдат подпрыгивал на одной ноге, едва опираясь на вторую, его поддерживала сестра милосердия — тоже пожилая, с грубоватым лицом. “Ой, полегче, сестрица, ой, полегче...” — тихонько причитал солдат...

Сажины и Мариновы замолчали...

Привокзальная площадь наполовину была заставлена санитарными каретами.

Носильщик, едва протолкав тележку к их экипажу, пристроил вместе с кучером багаж, принял плату от Константина Сергеевича, буркнул: “Благодарствую”, — и пошёл обратно к перрону, откуда всё несли и несли, вели и вели раненых...

Иван Алексеевич тревожно поглядывал на жену, но Ирина, на удивление, держалась сейчас спокойно.

А город встречал образом тихой жизни: ухоженной зеленью, спокойными прохожими, вывесками магазинов и лавок...

Вскоре подъехали к простому, но при этом просторному двухэтажному деревянному дому, отделённому от улицы невысоким забором; за домом виднелся сад, во дворе — дровяник, каретник, конура, из которой лениво выглянул седой пёс и снова убрался...

— Как хорошо у вас, Оля! Как спокойно...

На крыльцо, громко хлопнув дверью, выскочили мальчик и девочка:

— Мама, папа! Тётя, дядя!..

— Серёжа, Катя, переобуться-то... — не поспевая за детьми, вперевалочку шла старая няня...

После обеда женщины с детьми гуляли в саду. Мужчины курили в кабинете.

— Между нами: несколько дней назад состоялась встреча командующих фронтами. Были все, кроме Корнилова. Но его-то и назвали будущим Верховным... — Константин Сергеевич рассказывал свежие петроградские новости. Он лишь третьего дня приехал из столицы, где лежал в госпитале, а теперь находился в отпуске.

— Как? — недоумённо взглянул на него Сажин.

— Да-да. Нужно быть готовым к смене формы правления...

Вечером ездили в театр. Местная труппа давала “Вишнёвый сад”.

— Не стук топора по стволам, за сценой, а стрельба и “Марсельеза” должны бы слышаться в конце пьесы по сегодняшнему-то дню, — сказал вдруг Сажин, когда вышли из театра (до дома решили прогуляться пешком).

Константин Сергеевич промолчал в ответ.

— Иван... — укоризненно вздохнула Ирина, беря мужа под руку.

— А я верю, что всё будет хорошо, — сказал Ольга, тоже беря мужа под руку. — Иначе, без веры в хорошее, — как и зачем жить?..

В недалёком городском саду играл военный духовой оркестр. Тревожная музыка вальса напыляла и волновала...

И в сумерках уже не заметил Иван Алексеевич, как прикусила губу жена, едва сдерживая слёзы, только почувствовал, как сжала она его запястье...

4

В Питере Потапенко оказался лишь к осени (задержался в Москве, где ему изготовили новый “чистый” паспорт на фамилию Поздняков. Иваном Сергеевичем, правда, остался).

Ещё в августе в Петрограде были арестованы тридцать членов ЦК РСДРП. Всё руководство рабочим движением практически перешло в руки Выборгского комитета, членом бюро которого и стал в январе семнадцатого Иван Сергеевич Поздняков...

Утро было хмурое, всю ночь валил мокрый снег, и сейчас не переставший и переходящий временами в холодный дождик. Поздняков подошёл к проходной завода “Рено”. Полицейский с кобурой на боку, стоявший под фонарным столбом неподалёку, дёрнулся в его сторону, хотел окликнуть, но незнакомый ему коренастый мужчина в кожаной кепке и драповом пальто уже прошёл на территорию завода. Причём и время неурочное — все рабочие и служащие уже прошли. Полицейский всё же спросил у дежурного на проходной:

— Это кто? Чего-то я не помню...

— Свои, Алексеич, — с ленцой ответил дежуривший толстый мужик. И добавил: — Инженер новый.

Полицейский глянул на круглые часы над проходной — минут через десять должен подойти казачий разъезд. Хоть казаки не больно полицию любят, а всё же с ними надёжней в случае чего... А случиться может что угодно. О забастовке опять вон толки идут. И о чём начальство думает, по одному их тут выставляя...

Поздняков прошагал за встретившим его у проходной парнишкой лет семнадцати в ремонтно-механический цех.

В раздевалке его ждали пятеро руководителей заводского комитета, со всеми за руку поздоровался.

— Ну, как, товарищи, готовы?

— Готовы. Нам отступать некуда, — за всех ответил крупный сутуловатый рабочий лет сорока с густыми рыжеватыми усами.

В дверь всунулась лысая голова с шустрыми глазками и оттопыренными ушами:

— И чего это мы, господа хорошие? Шабашить решили?

— А вот мы уже и идём. — Все поднялись, а голова быстро убралась, и будто никого и не было за дверью...

— ...Товарищи, на сегодня назначена всеобщая забастовка и демонстрация питерских рабочих... Будем пробиваться в центр города, товарищи. Лозунги наши прежние: “Долой войну!”, “Долой самодержавие!” Сейчас группами расходимся по цехам, выводим народ на улицу и организованной колонной движемся к Лиговскому мосту. Хотя большинство воинских частей на нашей стороне, столкновения с войсками возможны. Есть данные, что сформированы специальные офицерские отряды. Власть в Питере должна перейти в руки Совета рабочих и солдатских депутатов до подхода армейских частей с фронта...

— Всё ясно, Иван Сергеевич, идём!

— По цехам!

— Бросай работу!

Минут через десять раздался неурочный резкий заводской гудок, возвестивший начало стачки, напугавший молодых лошадей подъехавшего к проходной завода казачьего разъезда. Рабочие затихли, увидев казачью силу. Но передние, как по команде, молча сцепились локоть в локоть, за ними поднялось и развернулось красное полотнище с чёрными буквами: “Свобода или смерть!” И казаки молчали. “Вперёд, товарищи!” — негромко сказал Поздняков, но его услышали все, и колонна демонстрантов двинулась с заводского двора. Звякнули удила, и так же слышно всем прозвучал негромкий голос есаула: “За мной!” Казаки тронулись, но не на рабочих, а вдоль по улице — прочь от колонны. Серый жеребец на скаку приподнял хвост, и на мостовую посыпались зелёно-жёлтые “яблоки”...

...В это же время в казарме третьей роты триста двадцатого пехотного полка прозвучала команда:

— Получаем оружие, выходим на улицу строиться!

Споро разбирали в оружейной комнате винтовки, подсумки с патронами.

— Ну, братцы, как договаривались, — негромко, но твёрдо сказал коренастый широкоскулый солдат с лицом, как дробью побитым. И другие солдаты брали оружие молча, сосредоточенно, будто разбирали инструменты перед ответственной работой.

— Становись! — скомандовал командир роты капитан Ковалёв.

Построились.

— Солдаты! Бунтовщики идут к центру города. В условиях войны любой бунт — прямое предательство. Наша задача остановить их...

Семён Игнатьев стоит на привычном месте в строю. Весело и страшно ему. Страшно — потому что сегодня нужно не просто решить, с кем он (это уже решено), но и совершить поступок. И весело от того, что знает, что и другие его товарищи решились на этот же поступок. Весело осознавать себя свободным человеком.

— Равняйся, смирно, напра-а-во!

— Не надорвитесь, вашблагродие, — спокойно сказал всё тот же широкоскулый солдат, незамеченным подойдя к офицеру сбоку.

— Что? Попов, встать в строй! Командир отделения, ко мне!

— Сдайте-ка оружие, господин капитан, от греха, — сказал Яков Попов и потянулся к кобуре офицера. Тот, однако, опередил его, выхватил оружие и до того, как схватили его за руки, успел нажать спусковой крючок. Попов отшатнулся, но, удивлённо обведя всех глазами, потрогав, будто не веря, грудь, рухнул на булыжники плаца паренёк, стоявший рядом с Семёном Игнатьевым.

— Ах, ты, гнида!..

— Бей его!..

— Сволочь!..

Через пару минут на плацу лежало истоптанное, будто и не человеческое тело...

Застрелен был и прапорщик, пытавшийся по телефону сообщить высшему начальству о случившемся... Вооружённая толпа в серых шинелях вырва-

лась на улицу, по которой уже надвигалась рабочая демонстрация. И молодые крепкие парни из демонстрантов сунули руки за пазухи — к наганам. Но над серой солдатской массой красною птицей взвилось знамя.

— Ура! Ура-а! Ура-а-а!..

...Семён не сразу выбежал с казарменного двора на улицу, оцепенело смотрел он на брошенное тело молодого солдата. Потом подошёл к растоптанному телу капитана. Глаза мертвеца, наполненные тёмно-серым небом, упирались в него. Семён, отвернувшись, быстро, обеими ладонями прикрыл веки мёртвому командиру, лишь тогда снова повернул лицо к нему. И увидел вывернутые карманы шинели — кто-то успел, воспользовавшись суматохой, пошуровать в них. А рядом, на мокром бульжнике плаца, придавленный тяжёлой от крови полкой шинели, лежал конверт. Семён зачем-то поднял его, сунул торопливо в карман.

— Что, братишка?.. — спросил вдруг подошедший откуда-то мало знакомый Семёну солдат, не дожидаясь ответа, понимающе покивал. — Табачком-то не угостишь?

Семён полез за кисетом:

— Прибрать бы надо... — глухо сказал, кивнув на мёртвые тела.

— Да, ладно, потом! — махнул сослуживец. — Пошли, а то отстанем от своих. — И оба пошли торопливо к воротам, за которыми слышалось гудение толпы, шарканье и стук подошв о мостовую. И всё это сливалось в единый звук — будто ползла и шипела огромная рептилия...

...— На Лиговском мосту пулемёты, — доложил тот паренёк, что встречал Ивана Позднякова у проходной завода.

“Если пойдём по льду, посечь могут всех. Они сейчас на всё готовы”, — оценил Иван Сергеевич положение.

— Стойте, до моей команды не двигаться! — Потапенко-Поздняков вышел из-за прикрытия угла дома. Качнулся за ним солдат, придерживая на плече винтовку с примкнутым штыком.

— Подожди, товарищ, — остановил его Иван Сергеевич. Двинул к мосту, где за мешками с песком виднелись винтовочные штыки, а между мешками — тупое рыло пулемёта.

— Стой, кто идёт?

— Свои!

— Свои пароль знают. Ко мне! — скомандовал офицерик в светло-серой шинели и глубоко натянутой фуражке, вышагнувший из-за мешков. — Кто такой?

— Я представитель Выборгского комитета партии социал-демократов... Товарищи солдаты! Ваши братья рабочие хотят пройти на Невский и к Зимнему, чтобы заявить царскому правительству свои требования. Братья солдаты, не стреляйте!

— Молчать! — офицерик судорожно тянул, дёргал наган из кобуры.

Грохнул выстрел. Иван Сергеевич опередил офицера. Он ждал, что сейчас и в него ударит винтовочный залп или срежет пулемётная очередь.

...Офицер лежал с неестественно подогнутыми ногами, с ужасом на лице, тёмное пятно расплывалось на серой шинели, на груди...

И выстрел грянул. Поздняков вздрогнул.

— Не бойся, товарищ, иди сюда, это мы тут второго — сами...

Высокий солдат в папахе и с подкрученными усами вышел из-за мешков, махнул призывно рукой.

Поздняков подошёл. Ещё человек пять солдат стояли над телом ткнувшегося лицом в мостовую, лежащего у пулемёта офицера.

— Сюда, товарищи! Путь свободен! — Поздняков махнул рукой, и из переулка потекла на мост тёмная людская река...

Центр Петрограда заполнен солдатами, рабочими, мужчинами и женщинами.

Свершалась февральская, “бескровная” революция.

Глава вторая

1

— Всё это, батюшка, сильно напоминает гапоновщину, тот с рабочими заигрывал, вы — с крестьянами... — говорил ротмистр Сажин, прихлёбывая с явным удовольствием чай из фарфоровой чашки, прикладываясь серебряной ложечкой с витым черенком к розетке с земляничным вареньем.

Тёплый июльский вечер. На веранде усадебного дома Зуевых сидят трое. Жандармский ротмистр Сажин — молодой, подчёркнуто аккуратный, с высоким открытым лбом (волосы приглажены назад), тонкой полоской усов, лихо закрученных кверху, и едва заметной ухмылкой, притаившейся в твёрдо поджатых губах. И в глазах, коричневато-зелёных за стёклами очков в тонкой оправе, тоже будто бы постоянная усмешка и вопрос. Настоятель Крестовоздвиженского храма отец Николай с окладистой, начинающей седеТЬ бородой, длинные волосы собраны в косицу, нос крупный, густые брови, глаза спокойные серые, и говорит он спокойно глуховатым своим голосом:

— Иван Алексеевич, не могу с вами согласиться. В чём же гапоновщина? Ежели крестьяне меньше пьют или же и вовсе отказываются от хмельного, меньше и драк по праздникам, больше и достаток в домах... Да если б не их, тех же крестьян пожертвования — не было бы ни чайной, ни библиотеки, ни школы. — Но тут же батюшка и оговорился:

— Отдаю должное, не было бы ничего этого и без пожертвований Алексея Павловича.

Алексей Павлович Зуев, подполковник в отставке, наследный владелец усадьбы, высокий, худой, с обширной плешью, с морщинистым, сильно состарившимся за последний год лицом, сдержанно кивнул на похвалу священника. Два года назад в Польше погиб его сын Иван, а в апреле из Петрограда пришла весть о гибели жениха дочери Елизаветы. Ей причину не говорили, но Алексей Павлович знал, что погиб капитан Ковалёв от рук вышедших из повиновения солдат собственной его роты... Со времени получения горького известия это были первые приглашённые гости в доме Зуевых. Правда, Елизавета Алексеевна, подойдя под благословение отца Николая и сдержанно поздоровавшись с Сажиным, сразу ушла в свои комнаты и больше весь вечер не показывалась... Хозяйка же дома — противоположность мужу своей округлостью и невысоким ростом — Софья Сергеевна будто перекатывалась из дома на веранду, а то в саду за домом или в цветнике, или где-то за деревьями парка слышался её голос. Постоянно живущих при усадьбе, нанятых для работ или же просто приживал было здесь довольно много, были даже старики из бывших крепостных. Всем Софья Сергеевна работу находила.

— Что ж, отец Николай, соглашусь: в чайных ваших и прочих аптечках да библиотечках ничего крамольного нет, хотя, уверен, и польза невелика... А вот то, что вы не ныне правящие власти, а отрёкшегося царя и семью его поминаете... Нарушая установления и высшей духовной власти... А? — допив чай и посмотрев зачем-то сквозь тонкий фарфор чашки в залитое солнцем небо, проговорил Сажин.

— А вы-то кому присягали, господин офицер? — напряжённым голосом вопросом на вопрос ответил священник и склонился к столу, при этом золотой его крест, недавний дар "от общества", пристукнул о застеленную голубой скатертью столешницу.

— Временному правительству, разумеется. Присяга же императору, на которую вы указываете, потеряла силу после его отречения.

— Вот именно, что временному... России без царя не жить.

— Живём же... Временное, да. Но скоро будет не временное...

— И я, господа, убеждён, — вступил в разговор Алексей Павлович Зуев, — что будущее государственное устройство России должно определить Учредительное собрание граждан...

— Нет. Ничего оно не определит, — уверенно и даже заметно грубовато ответил Сажин. — Похоже, что другие люди, никого особенно и не спрашивая, власть заберут.

— Это какие же, позвольте узнать?

— Да вот, наподобие сбежавшего социал-демократа, — Сажин кивнул в сторону реки, с другой стороны которой, из Ивановки ушёл прошлой весной ссыльный. — Уверен, что он сейчас в Петрограде, среди этих... большевиков. Им терять действительно нечего, а получить могут власть...

— Народ и власти должны одуматься и коленопреклоненно просить о возвращении на престол царствующей династии, — гнул свою линию отец Николай.

— И, конечно, приход к власти людей, подобных этому Потапенке, будет тяжелейшим, возможно, смертельным потрясением для России, — будто сам с собой рассуждая, говорил Сажин. И решительно, как отрезал, подвёл итог своим мыслям:

— Только военная диктатура может остановить их...

2

Лиза раскрыла толстую, в бархатном, протёртом на углах переплёте тетрадь — семейную реликвию. Сегодня утром она взяла её из книжного шкафа в отцовском кабинете. “Николай Зуев. Заметы моей жизни” выведено на первой желтоватой странице витиеватым почерком и дата внизу — 1849. Николай Зуев — личность в их семействе легендарная, брат её прадеда. Умер он молодым, а знаменит вот этой тетрадью, которую и раньше листала Лиза с дозволения отца, а прочесть от начала и до конца впервые решилась сегодня.

“О, память сердца!

Ты сильнее рассудка памяти печальной...”

(Несчастный Батюшков, кажется, ещё живущий в Вологде).

Явился на свет я в день Усекновения главы Иоанна Крестителя, в 1822 году, седьмым и последним ребёнком своих родителей. О первых годах своей жизни сказать ничего не могу, потому как помнить их невозможно. Хотя явственно помню мягкие, пахнущие молоком руки нянюшки моей Власевны. Рос я баловнем у родителей — всё мне позволялось. Думаю, что это и стало причиной моего скверного и крутоватого характера. И когда для укрощения меня стали употреблять прут, было уже поздно. Было у меня три сестры и три брата, из коих одна сестра и один брат умерли, не достигнув возраста юности, остальные же Божьей милостью живы и ныне.

Пришло же и то роковое для меня время, когда объявили, что мне пора учиться...

А с каким удовольствием мы, дети, плавали в лодке по нашей реке, а порою и высаживались на противоположном, носящем название Красный, берегу. Поднимались на гору, с которой открывался прекрасный вид на наш Воздвиженский берег. А камень, который крестьяне зовут Марьиным, и ныне лежащий там, пугал легендами и обрядами, связанными с ним, но и манил к себе...”

Лиза оторвала глаза от книги. На стене перед ней висел портрет в овальной раме — бледный худощавый молодой человек, с зачёсанными вперёд висками по моде тридцатых годов прошлого века, внимательными и грустными глазами глядел на неё. Был ли это Николай Зуев, автор “Замет...”, или один из его братьев, теперь уже не мог достоверно сказать никто, подписи на портрете не было, имя художника тоже осталось неизвестным, но утвердилось мнение, что это и есть Николай Зуев — брат её, Елизаветы Зуевой, прадеда... “Господи! Жили в золотое незабываемое время, в богатом именье, в почёте царской службы мужской половины семьи, в заботах по хозяйству и волнениях о здоровье многочисленных детей половины женской, во всём этом не отягощающем богатстве, хлебосольстве, барстве... И ведь тоже от чего-то страдали!”

“Как это, как это — Мити нет?” — прошептала она или только подумала, вспомнив того, о ком старалась хотя бы на время забыть...

Как-то уж так случилось — храня почти год неотправленное письмо капитана Ковалёва, Семён Игнатьев прочитал его. Конверт не был запечатан, а на конверте был написан адрес и имя получателя... И не жалел, что прочитал, — нельзя было барышне Елизавете Алексеевне получать это письмо. А передать его всё-таки было нужно...

От станции до Воздвиженья — пятьдесят вёрст. Сперва подвёз его какой-то старик, ездивший на станцию за покупками, но недалеко, вёрст десять. Потом Семён долго шёл пешком. Переночевал, не просясь ни к кому, у костерка на берегу речушки... С утра снова пошёл — теперь уж вёрст двадцать оставалось...

Время было сенокосное. С утра стояло ведро. Тёплый ветерок прилетал с родной стороны, казалось, приносил запах родной реки, сена.

Почти недельная поездка от Питера в душном переполненном вагоне вымотала его, постоянно болела голова — давала знать о себе контузия. Но к дому ноги сами несли... Послышался хрип, шлепки копыт по мягкой дороге. Семён обернулся, уступил путь. Сидевшую на телеге бабу он узнал, видывал раньше в церкви в Воздвиженье, а жила она, кажется, в какой-то из деревень вниз по реке.

— Здорово, солдат, — первой грубовато окликнула она.

— Здорово, коли не шутишь, — в тон ей откликнулся Семён.

— Садись-ка, служивый, до Воздвиженья подброшу. Ты же, кажись, Игнатьев, Семён?

— Семён и есть, отслужил, девушка, своё, — ответил Семён, присаживаясь на задок телеги, в которой лежали какие-то мешки, и в них металлически позвякивало: похоже было, что скобы и гвозди...

— Вот, всей деревней на станцию снарядили. Кому чего купить... В Воздвиженьи-то лавки закрылись...

— Так ты со станции едешь? А я-то ноги топтал, да смотри-ка, ведь и обогнал...

— Нам торопиться некуда...

— Что уж, больше-то некого было послать?..

— А где вас, мужиков, наберётся-то, много ли вас вертается-то...

— Твой-то пишет? — спросил Игнатьев неосторожно.

— Похоронка.

— Прости, Ульяна. — Он вспомнил и мужа её — Петра Шаравина, вместе призывались, но сразу после карантина попали в разные части и больше не виделись. — Стой! — вдруг скомандовал. — Что ж за народ, отправляют, а колёса не смазать, и скрипит и скрипит, ведь так все нервы вымотать можно... — Семён бормотал себе под нос, ругал неведомо кого. Да сам себя ругал-то. — Дай-ка дёготь-то. — Баба подала берестяную колобашку с дёгтем, заткнутую тряпицей...

— Вот так, солдатка! — закончив смазывать колёса, сказал Семён. — Пойду-ка, сполосну руки. — Он свернул с дороги влево, там под берёзовой горюшкой шустрил ручей, впадающий потом в реку. Склонился над чистой водой. Дно песчаное. И Семён подхватывал белый песок, тёр им давно загрубевшие, почерневшие ладони... Услышал шаги сзади, обернулся. Ульяна шла, спустив платок с головы на плечи, придерживая его за кончики, — шальной огонь в глазах, а на губах — горькая улыбка...

И сейчас, расставшись на отворотке дороги с Ульяной Шаравиной, проходя Воздвиженьем мимо усадьбы Зуевых, Семён встал у ограды со стороны сада, слышал, как перекликались в кустах малины и смородины девки. Увидел одну, белобрысую, в сарафанишке, босую:

— Иди-ка сюда, толстопятая. Да иди, не бойся, — позвал Семён девушку.

— А я и не боюсь. Чего? — подошла, а всё ж на подруг оглядывается.

— Вот что, голубоглазая, вот тебе пакет, передай его старшей барыне. И только ей. Поняла?

— Чего не понять... А ты, дяденька, с войны?

— С войны.

— А нашего-то папку там не встречал?

— Как фамилия-то? — серьёзно спросил Семён.

— Ивановы мы. Пантелей Григорьевич зовут.

— Нет, голубоглазая, не встречал. А до войны знал твоего батьку. Да призывались-то мы в разное время. На-ка, — достал из вещмешка заветную круглую коробочку, скovyрнул крышку плоским широким ногтем, — возьми момпасейку-то.

Девка (да девчонка ещё совсем — лет тринадцати) опять оглянулась на подруг, взяла конфету робко, но в рот засунула моментально, как и не было сладкой ледышки. Взяла конверт, кивнула, отвернулась от Семёна, сунула за пазуху.

— Да ты не мни, неси сразу барыне!

Девка обернулась, хотела, поди-ка, поспасибовать, но рот раскрыть побоялась, только кивнула и побежала, придерживая левой рукой подол, держа в правой лукошко с ягодами, мелькая щиколотками в траве...

А Семён вскоре спустился к реке. Вон он, Красный Берег, вон и крыша родного дома, вон и банька с серебристыми стенами... Во рту пересохло, и сердце застучало где-то в горле... Стал, оглядывая берег, искать лодку...

“Милая Лиза, здравствуйте!

Уже вторая неделя, как полк наш стоит в Петрограде. В последние месяцы нас изрядно потрепали — отдых необходим. Но, к несчастью, нахождение наше в столице, в бездействии, явно деморализует солдат. Там, на передовой, враг очевиден. Здесь — враг ползучий, внутренний. Всяческие социалисты разлагают солдат. Дай Бог нам выстоять в эти тревожные дни и выполнить свою миссию в нужный час.

Вспоминаю то лето трёхлетней давности, наши прогулки в окрестностях милого, ставшего для меня родным Воздвиженья. Берег, заросший кашкой, словно мягкий бело-зелёный ковёр у нас под ногами, и лиловые султаны кипрея вдоль дороги. Вспоминаю разговоры с мужиками и отцом Николаем, весь тот довоенный мирный покой... И Вас, милая Лиза, в белом воздушном платье, то улыбчивую, а то задумчивую... Ничто в мире не повторяется! Но я верю в наше будущее счастье.

Этим летом надеюсь всё же получить отпуск и, навестив матушку, приехать к Вам, в Воздвижение.

Передайте, пожалуйста, поклон и самые лучшие пожелания Вашим родителям. В следующем письме более подробно напишу о питерском нашем житье-бытье. А Вы, пожалуйста, пишите подробнее о своём.

Остаюсь вечно Ваш — Дмитрий Ковалёв”.

Софья Сергеевна прочитала письмо.

— Чего стоишь? — шикнула на девку. — Или все ягоды обобрали?

Босоногая почтальонша подхватила рукой подол и убежала к подругам, которым вскорости и рассказывала:

— На Красный Берег солдат-то шёл. Игнатьев. Письмо... Барыня-то, как прочла, аж пошатнулася...

4

“...Наконец же перевели меня из моей спальни в общую с братом комнату, а вместо няньки приставили ко мне дядьку Матвея, — писал в дневнике Николай Зуев. — Видя брата своего иногда читающим книги, я и сам вздумал читать их...”

Николай Зуев отложил перо, промокнул тяжёлым пресс-папье и присыпал золотистым песочком исписанный лист, поднялся из кресла, надел висевший на плечиках на стене старый китель, натянул стоявшие тут же сапоги, застегнул на поясе патронташ, надел полотняную фуражку, снял со стены ружьё и, не потревожив никого в доме (было ещё раннее утро), вышел во двор.

— Здравствуй, Макар, — окликнул он дремавшего на ступеньках флигеля старика-сторожа, зябко запахнувшегося в армяк.

— Доброе утречко, Николай Владимирович, — отозвался старик и поднялся.

— Ну, как погода нынче?

— Вёдро будет, барин.

Зуев прошёл аллеей парка, вышел за ворота и мимо церковного кладбища спустился к реке, отвязал лодку, вставил в уключины вёсла, поплыл в туман...

Он приткнул лодку к берегу, вышагнул из неё, остушился при этом в воду, досадливо поморщился, выдернул лодку на галечник и песок, поправил патронташ, поддёрнул ремень ружья на плечо. И застыл, будто в растерянности. Ну, действительно, не на охоту же он приплыл сюда, какая здесь охота... Пошёл вверх по тропе, к Марьину камню. Снял ружьё, поставил, упревил его о камень, обмял траву и сел... И понял, что никуда не уплыл, не ушёл от тех мыслей, что не давали покоя и дома... “Как же случилось, что я, обычный дворянский мальчик, воспитанный во всех обычаях и предрассудках уездного дворянства, но всё же в вере, в христианской любви, в тяге к добру, к тридцати годам потерял и веру, и любовь, да, пожалуй, и тягу к добру в том понимании, что внушалась мне воспитанием?”

“Я утратил ту наивную чистую веру, но не приобрёл веры иной. Потому что вера в прогресс и социализм не есть вера, а есть убеждение, причём уже поколебнувшееся во мне...”

Он достал из кармана трубочку с коротким чубуком — подарок петербургского дружка-гусара, — неторопливо набил табаком, перемешанным с вишнёвым листом (забота старого усадебного слуги Макара), чиркнул кресалом, подпалил от искры лёгкую бумажку, лежавшую в кيسете, от неё раскурил трубку. Всё делал не торопясь, с явным наслаждением... Внизу, под угором, над рекой, над Воздвиженским берегом пластался туман. Он уже редел, ветерок разгонял его... И вот порозовел крест над храмом — вышло из-за леса, встало в речном створе солнышко. И сразу от Ивановки слышался мык коров, побрякивания их ботал, еле различимые голоса хозяек, выгонявших своих кормилиц на улицу, где поджидал их поряжённый на лето пастух... Николай нетерпеливо вытряхнул недокурный табак из трубки, поднялся, стряхнул росу с одежды и отошёл к краю поляны, встал под ширококромной сосной так, чтобы видеть тропу, ведущую сюда от деревни. И сначала услышал, потом увидел её — в тёмно-синем сарафане, белой с красным узором по краю рубахе под ним, с лентой синей (его подарком) на голове, тугая коса вперёд на грудь брошена, испуг и радость в глазах. И Николай, не в силах больше терпеть, с колотящимся сердцем, вышагнул навстречу...

5

— Николаша, правда ли то, что говорят... Все, даже дворня? — преодолев видимое смущение, спросил Николая Зуева его старший брат Пётр, нервно набивая трубку. Он лишь вчера приехал из Москвы, получив отпуск в своём пехотном полку.

— Да, — ответил Николай. И тут же торопливо добавил, стараясь пресечь дальнейшие расспросы: — Но это моё личное дело!

— Нет! Это не только твоё дело. Это касается чести семьи. Что ты делаешь с родителями!.. А об этой... крестьянке ты подумал? Что ждёт её...

— Прекрати, Петя... Это слишком серьёзно для меня...

Они курили в бывшей детской, переделанной нынче под кабинет Николая. Пётр сидел на старом, обитом давно вытертой кожей диване, нервно затягивался дымом, подкрученные усы его при этом приподнимались и опускались, придавая лицу то злое, то удивлённое выражение. Николай стоял у окна, смотрел в парк, где уже совершала перемены осень...

— Может, ты и женишься на ней? — с вызовом спросил Пётр.

— Может, и женюсь, — так же с вызовом ответил Николай.

— Подлец, — тихо, но твёрдо сказал старший брат.

— Замолчи... мерзавец...

Они уже стояли друг против друга, глаза в глаза.

— Я убью тебя.

— Я сам тебя убью.

...Оба были, как в бреду. Но действовали при этом осторожно и расчётливо. Так, что никто и не догадывался, к чему они готовились. Так в детстве, задумав, тайком готовили они и даже почти совершили “плавание в Америку”: лодку с мальчишками, где лежала и старая отцовская сабля, и запас продуктов, и даже карта мира, перехватили уже у города...

— Скажи, что ты одумался, — требовательно сказал Пётр, заряжая при этом пистолеты.

— Нет.

Они стояли на поляне у Марьиного камня.

Пётр больше не говорил ничего, сунул в руку брата оружие и отошёл к краю поляны. Николай отошёл к другому краю, развернулся. И одновременно грохнули выстрелы.

Филин сорвался с кроны сосны, широко расправив крылья, сделал круг над поляной и вновь стал невидим в широких густых ветвях.

Пётр бросился к лежавшему недвижимо брату. Он был уверен, что выстрелил мимо, и даже был уверен, что видел, как пуля вошла в сосновый ствол. Но брат мёртво лежал перед ним...

— Николаша... Коля!

Брат был жив, пуля не задела его. Но он был без сознания...

...Воздух, тронутый широким крылом птицы, опахнул его... Девки вели хоровод вокруг камня. Пели что-то невнятное и заунывное. А были все в белых исподних рубахах с венками из купальниц на головах, с распущенными волосами. И Дуня его здесь. Вдруг все они уставились на него и с неслышимым визгом, порвав хоровод, убежали за деревья. А Дуня, тоже отбежав к кустам, оглянулась, и несмелая улыбка озарила её лицо...

От реки в дом помогли донести его старый слуга Магар и франтоватый кучер Лёвка, уложили Николая на тот самый диван в бывшей детской.

— Да что же это с ним, что же... — твердила мать.

— Как это случилось? — стараясь скрыть волнение, резко спрашивал Петра отец.

В тот же день к Дуне посватался вдовец из соседней деревни, её родители незамедлительно дали согласие (мать Николая уладила это дело через бойкую и верную семью Зуевых старую няньку).

В тот день, когда Николай пришёл в себя, Дуня венчалась в Воздвиженской церкви.

Пётр не находил себе места. И когда узнал, что Николай очнулся, бросился в его комнату, попросил выйти всех, встал на колени перед лежавшим на диване братом:

— Прости меня. Прости ради Бога...

— И ты... — слабым голосом откликнулся брат.

6

По выздоровлении (а болезнь Николая заключалась в “потрясении нервов”, как пояснил привезённый из города доктор) он не долго побыл в имении. Вскоре уехал в Москву, где поступил на медицинский факультет университета.

Там жил он у какой-то дальней родственницы, которую называл “тётушкой”. Жил тихо и почти бедно, кроме присылаемых из дома пятидесяти рублей в месяц, заработка не имел. Учился прилежно и успешно. По окончании курса Николай вернулся в родной губернский город, в родной зуевский дом. В Воздвиженье на лето он не поехал.

Военные действия в то время принимали особо горячий оборот, “союзный” десант высадился в Крыму. Формировалось губернское дворянское ополчение. Все в городе суетились — заказывали портным форму, покупали пистолеты и порох...

Николай Зуев в ополчение не поступал, форму не шил. Собрав дорожный сундук, он отправился на юг на перекладных.

Проезжал и Вологду.

На станциях и перегонах, если была ровная дорога, Зуев читал “Опыты в стихах и прозе” Батюшкова. Случайно или нет, но именно эта старая книга оказалась в сундуке верхней. Стихи Батюшкова казались наивными по сравнению, например, с Лермонтовым, проза изящна, но туманна. Но было в этой книге и какое-то очарование...

Город Николаю понравился: зелёный, чистый. Много двухэтажных домов с угловыми балконами, какие во множестве были и в родном городе Зуева, моду на них ввели, кажется, пленные французы. Впрочем, изящная резьба наличников и поддерживающих балконы столбов делали эти дома вполне русскими...

Деревянные мостовые, спокойные люди, ленивые собаки, вкусный обед в трактире...

Зуев решил задержаться на день.

Он миновал широкую и всё же тесную из-за трёх выстроившихся в ряд церковей площадь. По мостику, по краям которого расположились торговцы утварью и мелочным товаром, вышел на другую площадь, рыночную, шумную, но на которой тоже нашлось место для двух храмов... А далее уже виднелись обшарпанные крепостные стены. И как единое сердце города — вознесённый над городом, церквами, людьми, над всем земным центральный купол величавого Софийского собора...

Зуев постоял у древних стен, поражённый величием Софии, и пошёл к совсем близкой реке, на место, как узнал он, называемое вологжанами Соборной горкой.

Он вышел на высокий берег неширокой спокойной реки, давшей название городу. Тут была тенистая берёзовая аллея, центральная дорожка посыпана чистым белым песком, а по краям — опять деревянные, приятно пружинящие под ногами мостки. Прогуливаются по аллее нянюшки с детьми, дамы с кружевными зонтиками, степенные мужчины... По-видимому, это место для прогулок *высшего света* города...

Зуев глянул вверх и вниз по реке — на каждом повороте её (а поворотов много) купола и кресты церковей...

Невысокий плотный человек в чёрном сюртуке, не новом и не модном, но добротном и чистом, с высоким лбом, глубокими залысинами и твёрдо сведёнными, до глубокой морщины в переносьи, бровями, с крючковатым носом... Николай Зуев узнал Константина Батюшкова, хотя видел лишь молодой его портрет, где он кудреватый, как барашек, с добродушной усмешкой...

Шёл Батюшков не быстро, но твёрдо, не глядя по сторонам, заложив руки за спину. По всему — совершал привычную до мелочей прогулку.

На него оглядывались. Кое-кто кивал, говорил что-то, поэт кивал в ответ.

Зуеву явился даже порыв подойти... Но увидел человека, следовавшего за Батюшковым неотступно, тоже кивавшего встречным. Врач или просто надсмотрщик, охранявший покой больного гения...

Вечером Николай писал в тетради: “Вот же судьба — три войны, ранения, стихи, первыми давшие вольное дыхание русской поэзии, подхваченное Пушкиным, — и безумие. Великий ум, чистая душа — во тьме...”

Говорят, что первоначально было буйное помешательство — попытки самоубийства и прочее. Теперь же поэт внешне здоров, но не воспринимает действительность, живёт в каком-то своём мире... А может, это счастье — жить в своём мире?..

Там, куда я еду, — война и кровь. Смогу ли исполнить долг свой?”

...Госпиталь, в котором работал Николай Зуев, располагался на Малаховом кургане, неподалеку от штаба Корнилова.

Вой бомб, ружейная стрельба, стоны раненых, запах гниющей плоти, операция за операцией — привыкнуть к этому было невозможно. Зуев, как и другие врачи, медбратья и сёстры милосердия, уже месяц спал не более трёх часов в сутки — не привычка, но тупое равнодушие охватывало, обволакивало мозг и душу... И порою чуть ли не в бреду он твердил, как молитву: “О, память сердца, ты сильнее...” И память сердца милосердно уносила его в Воздвижение и на Красный Берег...

— Корнилов убит! — разнеслось в тот день после страшного артобстрела по Севастополю. — Командующий — Нахимов! — как надежда и вера в победу неслось вслед за горькой вестью.

Николай знал, где стоит полк Петра, но до сих пор не смог выбраться к нему. В этот вечер пошёл. Обстрел уже прекратился, и на осаждённый город опустилась вдруг благодатная тишина и прохлада. С моря тянул волглый солоноватый ветерок. По узкой, зажатой каменными стенами улочке Николай вышел на обрывистый берег. Внизу волны с шипением набегали на камни, а впереди — безбрежная гладь... И отступила куда-то война, душу захлестнуло тепло...

*Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском берегу,
И есть гармония в сём говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге...*

Сами собой, как волны, набегали батюшковские строки...

Встречный солдат подсказал месторасположение полка. Вскоре Николай нашёл выложенный каменными плитами блиндаж, где и обнялся с братом.

— Вот так, брат, воюем...

— Вот так, брат, лечим...

— Ну, садись-садись, рассказывай...

Но поговорить не успели. Послышалась недалёкая стрельба. В блиндаж ввалился офицер, лица которого Николай не разглядел в тусклом свете свечи.

— Это брат мой, — успел сказать Пётр.

— Честь имею, — коротко кивнул вошедший. — Быстрее к своим, Зуев, французы атакуют, — сказал Петру.

— Я с тобой, Петя, — вскрикнул Николай. Тот лишь отмахнулся, выбегая из блиндажа.

На редуте шла перестрелка. В сумраке какие-то фигуры бежали, падали, стреляли, снова бежали...

— Почему молчат артиллеристы? Шрапнель! — кричал кому-то Пётр.

— Нет снарядов! Не удержим...

Николай не заметил, откуда появилось знамя, увидел его уже в руках у Петра и всё смотрел, как брат его бежит, оглядываясь и что-то крича, держа перед собой двумя руками знамя. И странно — думалось о том, как тяжело Петру держать вот так знамя, да ещё и бежать...

— За мной, ребята, в штыки! — расслышал он голос брата.

Николай бежал позади солдат. И, наверное, если бы кто-то смотрел на него со стороны, казался бы нелепым здесь — в гражданской одежде, безоружный... Вспышки выстрелов, яростные крики, секунды тишины и стоны, стоны вокруг... И он увидел сквозь дым, как качнулось и пало знамя...

Всю ночь он сидел у постели, на которой умирал Пётр.

— А помнишь в Америку-то?.. А охоту?..

— Ты прости меня...

— И ты меня прости...

...Семейное предание Зуевых не сохранило памяти о дальнейшей судьбе Николая Зуева. Скорее всего, он, как и его брат Пётр, погиб при обороне Севастополя.

Глава третья

1

Игорь Александрович Игнатъев давно обещал сыну Мишке съездить в Москву. И Андрея надо было повидать (отцы их были уже троюродными братьями, но всё же они считались, да и были близкой роднёй). Особенно хотелось показать письма, что нашёл на чердаке деревенского дома в Ивановке на Красном Береге.

...Отец уже не раз, вроде бы и случайно, проговаривался, что, мол, надо бы в Ивановке побывать, да боялся ехать туда — душу бередить. “Там уж, поди-ка, и нету ничего...” — вздыхая, говорил он и переводил разговор на другую тему. И Игорь решил съездить сначала сам, один. Съездил. За выходной сгонял, договорившись с приятелем, имевшим машину, соблазнив того рыбалкой. Мост в десятке километров от Ивановки, к счастью, был в исправности, и дорога по Красному Берегу вполне проходима для “Нивы”.

Тогда-то и нашёл Игорь тот старый чемодан с письмами...

Сначала отцу дал — его деда письма-то были, ещё с Первой мировой писанные. Отец письма держал у себя с неделю.

— Видывал я эти письма в детстве-то, родители хранили... Издать бы книгой их...

— Да, надо бы издать, — согласился Игорь Игнатъев с отцом. С этим и к Андрею ехал.

Ну, не чудо ли:

“В первых строках моего письма прошу от Господа Бога родительского благословения матери моей Аграфены Ивановны, которое может существовать по гроб моей жизни. Низко кланяюсь дорогому брату Михаилу и всей его семье и посылаю всем по низкому поклону. Тебе же, дорогая жена Вера Егоровна, поклон мой особый, так же и детям моим, Полине и Василию. Так же кланяюсь всем мужикам и бабам деревни Ивановки...” И дальше в таком же стиле.

А брату проще писал:

“Здравствуй, любимый брат Михаил. Вчера с 4-х полков собрались люди, хотя не все, но партия порядочная. Солдаты с красными флагами, плакатами, на которых были различные лозунги, касающиеся войны. С каждым полком оркестр духовой музыки. На груди у многих красные банты. На винтовках были красные ленточки. Шли по шоссе в ногу, подхватив друг друга под руку, и пели: “Отречёмся от старого мира”... Действительно, хотя не все, но большая часть отреклась. Как это всё приятно видеть! Сердце трепещется от радости, и по телу пробегает мороз. Но печально было тогда, когда стояли стройными рядами и, склонив к земле знамени и флаги, под музыку запели: “Вы жертвою пали в борьбе роковой...” Сердце тогда волновалось, и пришлось силой воли сдерживать слёзы. Стали выходить ораторы, говорили громко, ясно и правильно. Говорили — не стеснялись, что есть наболевшее при старом правительстве. Уходили с трибуны под крики “Ура” и музыку. Многие говорили о необходимости воевать до полной победы и стремлении идти вперед рука об руку. Ибо в этом состоит победа. Быть может, скоро в бой, но я без сомненья готов помереть за победу, за счастье народа. До свидания. Ваш брат С. В. Игнатъев”.

Сотни таких писем, уложенных в аккуратные стопки, перевязанных тесёмками. Игорь Игнатъев вёз их в большой спортивной сумке и не стал сдавать в камеру хранения, весь день по Москве таскал.

А Мишка молодец: в пять утра встал, весь день по Москве — и не стоял. А сегодня, уже в поезде, на обратном пути, долго молчал, потом сказал:

— Папа, а почему у дяди Андрея такой большой дом, а у нас маленькая квартира?

Не нашёлся, что и ответить ему...

...Да, дом у Андрея большой. Настоящий дом. Ну, кто успел, тот и съел. Успел он, успел ещё в перестройку хватануть, а потом уж и в демократической России не растерялся... А настоящий ли дом-то? Купленный по дешёв-

ке (по московским, конечно, меркам) у разорившегося компаньона-бизнесмена, за каменными стенами, среди таких же спрятанных за такими же стенами домов... Это не дом, а то же самое жилище, что и его, Игоря, двухкомнатная квартира, образовавшаяся в результате размена родительской квартиры, череды разменов и доплат... Жилище, не дом. Потому что дом его истинный — в деревне Ивановка на Красном Береге. Дом, оставленный и, казалось, забытый ещё отцом, сбежавшим когда-то из родной деревни в городскую жизнь... Затосковал отец-то по родине...

Месяц назад Игорь побывал там, на Красном Береге... Но он помнил и деревню своего детства, бабушку и дедушку, к которым ездил на каникулы. Впервые оказался там тридцать с лишним лет назад... Но самый первый день в Ивановке он, тогда семилетний, запомнил чётко, вернее, одну картинку из того дня: мимо дедовского дома шёл в белой, распахнутой на груди рубашке парень, опустив голову, заложив руки за спину, а рядом шёл милиционер, и шли они к жёлтой с синей надписью “Милиция” машине.

“Отгулял Серёжка, отгулял — голова бедовая. Страсть-то какая, грех-то...” — вздыхала бабушка, выглядывая в окошко. “Да уж, погулял, теперь долго сидеть будет, отдохнёт... Да вряд ли поумнеет...” — грубовато отзывался дед Василий. А отец расспрашивал — что да как. Они и рассказали, и Игорь запомнил:

— Пришёл к старичкам Забориным. Денег стал просить. А Николай-то Николаич, хоть старичок, а не испугался. А Серёга-то схватил топор и обоих... Денег нашёл да паромом в Воздвиженье, белой купил и вот два дня и пил один в избе, пока милиция-то не приехала, боялись и зайти-то к нему...

Отец тогда вскоре уехал, а Игорь всё лето жил Ивановке. И сейчас помнил, как с опаской обходил дом, в котором случилась та страшная беда.

Лет, наверное, восемь каждое лето он ездил в Ивановку. Все те летние дни сливались в его памяти в одно: деревенская улица — тракторные колеи, зелёная мягкая мурава, просторные огороды, чёрные избы; река — рыбалка, купание; лес — грибы, зелёный листвяной ветерок; бабушка, дедушка — доброта их... Детей, кроме него, в деревне почти никогда не бывало. Но он не скучал, он любил лес и реку, бабушку и дедушку. И весь тот мир отвечал ему любовью. И был ещё Марьин камень... О нём говорила бабушка Катя: “Кто у Марьиного камня поспит — прошлое и будущее узрит. Это мне ещё моя бабушка говорила. Да не всегда и не каждому камень открывается. Только чистой душе”. Но сама же бабушка и говорила: “Сказки всё это, Игорёк. Да и камень-то с места скинули, под горку скатили...”

...В то лето повесился последний “молодой” сорокалетний мужик, тракторист Магуничев. В то лето умерла бабушка Катя, и он, семнадцатилетний Игорь Игнатьев, с дедом хоронил её на Воздвиженском кладбище. Парома уже не было: хотели, было, переправлять гроб на плоту, но дед договорился с машиной (плавал на лодке в Воздвиженье, там ещё жил колхозный шофёр Павлов, “пятьдесят третий” “газик” всегда стоял под его окнами). Везли бабушку окружным путём через мост... Отец Игоря — её сын — на похороны не успел...

Игорь брёл вдоль берега по тропке, то сбегавшей к самой воде, то карабкавшейся на кручу. Завтра он уедет в город и, наверное, уже долго не вернётся в Ивановку, где, кроме деда, и жителей-то осталось два человека, остальные, кто помоложе и покрепче, давно перебрались с Красного Берега в Воздвиженье, а то и в Жуково... Деду сказал, что пошёл рыбу удить... Нет. Не хочется. Даже леску не размотал. Бросал в воду камушки и бездумно наблюдал, как разбегаются круги от точки падения... По дороге со стороны моста шёл человек. Крепкий, коротко стриженный мужик в белой рубашке... Что-то неуловимо знакомое было в нём.

— Здорово, оголец. — Глаза прокальвающие, усмешка в углах жёсткого рта. — Ты чей?

— Игнатьев.

— Василия Семёновича внук, что ли?

— Да.

— Ну-ну. — И пошёл дальше к деревне, перекинув с плеча на плечо матерчатую сумку с какой-то надписью, что-то насвистывать стал.

И Игорь вспомнил, как вели его, тогда молодого парня, по деревне к милицейской машине...

Игорь поспешил домой, но не по дороге, а по той же тропе, затем огородом. Он почему-то ничего не сказал деду. Но с тревогой ждал, что Сергей Куликов зайвится в их дом. Не заявился, вообще будто и не заходил в деревню (из его семьи никто уж и не жил в Ивановке), и никогда больше Игорь не видел этого человека...

— Отцу скажи, чтобы приехал, — наставлял дед, — картошки пусть возьмёт, да рыжики подспеют к тому времени... Дом не продавайте... Ещё вернётеесь...

— Дед, ты о чём?..

Игорь и дед долго сидели в тот тихий августовский вечер на крыльце. То и дело по горизонту, там, где небо касалось леса, вспыхивали зарницы, слышно было, как задвигала засов бабка Спиридониха, вернувшаяся с вечернего чаёвничанья в доме Зинаиды Могуничейвой, схоронившей в июне сына... Игорь понимал, что дед прощается с ним. И от этого было страшно и тоскливо. Захотелось уйти, потянуло опять к реке.

— Да куда ночью-то? — удивился дед.

— Освежусь, дед, маленько, — будто какая-то сила гнала.

Игорь через огород и невыкошенную луговину выбежал к утору, ноги вынесли на берег к Марьину камню. Торопливо скинул одежду, вошёл в воду... Зарница ослепила его, и в тот же миг свело ногу, он выгребал к берегу из последних сил, на локтях вылез на береговой галечник, ткнулся в траву у камня...

...Позади остался сырой подвал, крепостная стена и дворы посада, прибрежные кусты приняли под свою защиту, а вскоре нашлась и лодка-долблёнка, наполовину вытащенная на берег и ещё привязанная к стволу ивы. "Прости, хозяин, — мне нужнее. Авось сочтёмся!" Игнашка отвязал лодку, столкнул на воду, взял в руки лежавшее под лодкой двулопастное весло, погрёб, поплыл, то и дело вталкиваясь в слои тумана и выныривая из них. Туман рассеивался. Видны стали лесистые пологие берега. Игнашка вёл лодку ближе к правому, противоположному от городка берегу. Лес на левом берегу стал вдруг раздвигаться, открылся луг с пасущимися коровами, а потом и избы. Игнатий видел баб, полоскавших бельё у того берега. И они его видели. От городка к селу и далее по берегу есть и дорога, конечно же, по ней уже скачет погоня. Это ведь не шутка — царёву опричнику перечить да изпод его стражи бежать...

И не замечая усталости и голода, не чувствуя боли в измученном пыткой теле, грёб он ещё скорей, подальше от деревни, от дорог, то и дело цепко вглядываясь в берега. Первую впадавшую справа речку он миновал, хоть и тянуло нырнуть туда, уйти с большой реки... Когда солнце уже выкатило в зенит, увидел вторую речку, родную, вливающую струи в большую реку, — повернул... Против течения тяжелее стало грести. Но он грёб, грёб, веря, что всё дальше уходит от погони. Жить ему хотелось, как всякому молодому, — в тот год минуло для Игнашки двадцатое лето...

Игнашка не решился приближаться к Ивановке днём. Ткнул лодку в прибрежный песок. Береговая песчаная полоса упиралась в глинистый обрыв, над которым высился сосновый бор. Игнашка на карачках выбрался наверх, поднялся. Ровные, как колонны, красноствольные сосны тянулись в небо, кивали там, наверху, зелёными мохнатыми головами. Подножие бора было устлано бледно-зелёным мхом и хвоей. И во мху — красные капли бруснички. Игнатий кидал ягоды в рот горстями, пока не обманул чувство голода. Потом сел на мох, прислонился спиной к шершавому стволу и сразу уснул. Его разбудили голоса... Он открыл глаза, повернув голову, увидел девушку, собирающую ягоды в лукошко, чуть дальше — ещё девка... Лёг, стараясь вжаться в мох... Когда первая позвала вторую купаться, та отказалась, но тоже к реке сбежала, на берегу сидела... Игнатий сперва думал лишь

о том, чтобы не увидели они лодку... А когда стала раздеваться... Не смог отвести глаз, так и пялился из кустов...

В сумерках подплывал он к родной деревне. Лодку вытащил на берег, спрятал в прибрежных кустах. Сторожко таясь, поднялся на угор, к Марьину камню. Чужая дымка, слышалось мычание коров и брёх собак... Странно и обидно было тайком, будто вор, возвращаться домой. Лесом, минуя тропу, вышел к поскотине, добежал до родного огорода. Мать, выходявшая со двора, увидела его и заполошно всплеснула руками...

Потом уж узнали: в то утро взбунтовались пленные казанцы, горели крепостные стены и дома посада, в рукопашную схватывались татары и охранявшие их люди опричника царского, боярина Никиты Зуева... Не до Игнашки было, брошенного за день до того в подвал по доносу за крамольные речи. А и сказал-то лишь, что собак лучше кормят, чем их, собранных со всей округи на строительство нового града, призванного стать оплотом власти Москвы и грозного царя Ивана Васильевича в землях северных, воложских...

Вскоре Игнатий посватался за Арину — Давыдову дочь, ту, что звала подружку свою купаться...

...Игорь Александрович Игнатьев сидел в ночном тёмном вагоне. Рядом, подогнув ноги, бесшумно дыша, совсем как-то по-младенчески спал его десятилетний сын Мишка, и вокруг во всём вагоне, во всём этом городе, поставленном на колёса, спали люди... Игорь Александрович не мог уснуть, он уходил в тамбур, курил, снова сидел у тёмного окна, в котором проносилась ночь с редкими проблесками дальних огней... И вспоминалась дедова деревня, и даже тот обморочный сон у камня... И снова обращался ко вчерашнему дню, к разговору с Андреем...

2

Детство их прошло рядом, жили в городе в соседних домах, учились в одной школе, правда, в разных классах. Были, как говорится, *не разлей вода*. И те, кто не знали, принимали их за родных братьев, хотя на самом деле уже их отцы были троюродными.

И вот сидели Игорь и Андрей за столом в кабинете Андрея, пили коньяк, курили, читали разложенные на столе письма Семёна Игнатьева, говорили. И не понимали друг друга. И каждый понимал, что не может понять другого. За последние двенадцать лет виделись несколько раз урывками — у каждого своя жизнь. Но расхождение началось раньше.

То, что внешне жизнь по-разному уже в конце школьной учёбы складывалась, — это понятно, но и внутренне они всё более расходились. Игорь ещё учился в девятом, а Андрей уже “закошил” от армии при помощи врача — приятеля отца. О чём, не стесняясь, рассказывал Игорю. Зато в то же время он стал секретарём райкома комсомола — давно уже комсомольским активистом был...

Игорь, когда учился в седьмом классе, записался в секцию самбо, и с тех пор главным его увлечением был спорт. Школа была ему неинтересна, учился, потому что нельзя не учиться, тем более не участвовал в общественной и комсомольской работе...

В то лето Игорь закончил десятый и готовился к поступлению на физвос, Андрей заочно учился на втором курсе истфака и работал в райкоме ВЛКСМ) решили съездить в деревню, а потом по реке спуститься на резиновой лодке до города. Как-то совпало у них это желание, и кажется, у обоих было предчувствие разговора, выяснения отношений, и нужно было остаться вдвоём... Отец Андрея (для Игоря — дядя Олег) довёз их на своём “Москвиче” до Жукова, дальше шли пёхом. По очереди тащили тяжёлый мешок с лодкой. В рюкзаке — продукты и рыболовные снасти, резиновые сапоги... Игорь помнил чувство свободы, самостоятельности. А Андрей... Он тоже помнил тот их поход... Ему важно было понять Игоря, хотелось поговорить, проверить... Вот тогда-то, пока от Жукова до Воздвиженья топали, он и рассказал брату, как от армии закошил...

— Слушай, ты как будто гордишься этим... — удивился Игорь (до этого он искренне верил, что Андрей комиссован на самом деле).

— Не горжусь, конечно... Сделал то, что считаю нужным... Не хочу время терять. Это в лучшем случае. А если в Афган? А дедовщина? Слышал про дедовщину?

— Ну, слышал. Так ведь это как себя поставишь... — возражал Игорь.

— Да как бы ты себя ни ставил — это система. Си-сте-ма...

О дедовщине он понаслышался от служивших приятелей и знакомых и теперь щедро делился знаниями с Игорем.

— Надо заглядывать всё же подальше в будущее. Вот я знаю, что через год-два буду в горкоме, потом на партийную работу пойду, а это ведь, согласишься, совсем другая жизнь, чем у станка да в очереди за колбасой стоять...

Теперь, вспоминая тот трёп, Андрей усмехался над собой девятнадцатилетним комсомольцем: скоро, очень скоро жизнь резко поменялась, полома-ла все планы, но он-то оказался к этому готовым...

А тогда они шлёпали по мягкой грунтовой дороге, солнце палило в макушки, небо было безоблачно-голубое, трава и листва зелёные, впереди было пустеющее, с последними доживавшими там свой век жителями село Воздвиженье, река, Красный Берег с оставленной людьми деревней Ивановкой...

Игорь что-то пытался возражать, горячился, но Андрей, как ему казалось, своей железной логикой разбивал наивные представления брата о жизни...

За всё время от Жукова до Воздвиженья им не повстречался ни один человек, и чем дальше от Жукова и ближе к Красному Берегу, тем глуше были места. Заброшенные поля по сторонам дороги зарастали осиной и ольхой, и казалось, что они идут в какой-то неведомый край, не на Красный Берег, а на необитаемый остров...

В Воздвиженье накачали лодку. Переплыли реку. Красный Берег и был необитаем. За последний год поумирали да уехали поближе к людям “остатние”, как говаривал дед Василий, жители Ивановки.

Братья ходили по пустым домам. Большинство уже давно были нежилыми, холодными, в иных ещё чуялась недавняя жизнь.

Деда Василия схоронили весной в городе. Отец забрал его прошлой осенью: “Ну, как он там один перезимует!” — а уже в январе дед попал в больницу, из которой и не выбрался живым. Просил, чтобы упокоили на Воздвиженском кладбище, но похоронили на городском.

Игорь помнил странные слова деда, последние, сказанные ещё вроде бы в здравом уме (потом уже был совсем бред): “Когда камень с церковью встретятся — всё и свяжется. Так и будет...” Игорь догадывался, что речь, скорее всего, о Марьином камне и Воздвиженском храме. Но как они встретятся?.. И что свяжется?..

Они бродили по пустым избам, забирались на чердаки, спускались в погреб, заглядывали в чуланы.

Заглянуть в чужую жизнь — всегда интересно... Где-то ещё висели на стенах фотографии в рамочках за стеклом, со вставленными тут же с краешку поздравительными открытками — с Новым годом, с “октябрьскими”, в каком-то чулане Андрей нашел пару икон и прибрал себе...

— Зачем? — спросил Игорь.

— Может, ценные, продам... — спокойно ответил Андрей. Игоря ответ этот покорило, но с другой стороны — они же теперь, действительно, ничьи, иконы эти. Он и сам, натолкнувшись на одном из чердаков на сундук со старыми журналами и книгами, выбрал оттуда едва ли не половину, взял бы и всё, да не утащить...

Андрей до этого в Ивановке ни разу не бывал (деревню оставил ещё его прадед в начале тридцатых), но знал, что его корни здесь. Прадеды Андрея и Игоря были родными братьями...

Ночевали в игнатьевском доме... Здесь тоже всё напоминало о недавней стариковской жизни, а Игорю — и о его недавнем детстве.

На рыбалку собрались утром. Сперва червей накопили — просто поднимали полусгнившие доски, которыми была выложена дорожка от крыльца. “Иди ко мне, мой белый хлеб!” — почему-то всё время приговаривал

Андрей, вытаскивая из земли очередного червя и отправляя его в консервную банку.

Туман ещё клубился над рекой, над некошеными лугами, над подступавшим вплотную к деревне мелколесьем. И пока пробирались через эти травы и кусты, вымокли насквозь. К реке спустились у Марьиного камня, он лежал сейчас “по пояс” в воде (лето дождливое выдалось), и, взглянув от реки вверх, на угор, Игорь точно угадал то место рядом с разлапистой старой сосной и берёзой с раздвоенной макушкой, где лежал этот валун, может, века, может, и тысячелетия. И вспомнил, как чуть не утонул здесь прошлым летом и как то ли уснул, то ли потерял сознание у этого камня, и что привиделось ему тогда...

Андрей пошёл выше по течению, а Игорь остался у камня — тут тоже неплохое для рыбалки место... Всё равно мокрый был — по неглубокой воде перебрался к валуну, с трудом, но влез на него, удобно устроился в углублении, будто бы специально выдолбленном, рядом банку поставил, удочку размотал торопливо, нацепил червя, закинул. Поплавок лёг на воде, и Игорь сразу вытащил снасть, с поправкой на глубину сдвинул поплавок так, что при следующем забросе он, как и положено, торчал пером вверх... Сначала вроде “типнули” червя, поплавок дёрнулся, Игорь торопливо подсеёк. Червь был наполовину оборван. Игорь поменял наживку, снова закинул... Но больше почему-то не клевало...

...И хотя уже давно встало и пригревало солнце, снова туман вокруг камня за клубился, и сквозь туман Игорь увидел плывущие от Красного Берега к Воздвиженью лодки, много лодок. В них женщины и мужчины, у одного бородатого мужика, сидящего на корме, в руках гармонь, и даже видно, как он широко растягивает меха, разевает рот, но не слышно ничего... Лодки одна за другой пристают к тому берегу, люди выходят и поднимаются вверх по береговой тропке к кладбищу и храму... И тот же мужик с гармонью идёт, покачиваясь, и видно со спины, как под пиджаком сходятся и расходятся лопатки — в ритм гармонной игре... Всё затуманилось, расплылось, исчезло... Но вот сквозь туманную дымку вновь виднеется кромка Воздвиженского берега, и к воде подходит мужчина, кажется, в военной форме, сбрасывает с плеча вещмешок, склоняется над водой, умывает лицо...

— Игорь, Игоряха!.. — разгоняя морок, пробивается к нему голос брата.

Игорь обернулся, но увидел не Андрея, а какую-то странную подпрыгивающую и качающуюся фигуру...

— Нормально, да? Иди сюда, смотри, чего нашёл...

Это был большой кус берёсты, уже почерневшей, с вырезанными глазами и ртом, а во рту даже зубы вырезаны, и остатки мха, как борода, а по верху куска даже тесёмки, чтобы привязывать маску к голове... Привязывать, конечно, не стали — просто руками держали, по очереди примеряли...

— Ну, и страшнице!

— Где нашёл?..

— А там избушка, за ручьём, — махнул Андрей, — сарай какой-то, там и висела на стене...

Игорь понял, почему ни разу в своих многолетних брожениях по здешним лесам и лугам не наткнулся на ту избушку — ручей был границей, за которую ходить было нельзя, там болото, там дремучий непролазный лес, там даже старожилы “водят”... Он и не ходил — хватало воли и вокруг деревни. А про какую-то “мужицкую избушку” слыхивал, но что это за избушка — не понимал...

— Давай ещё сходим, может, ещё чего найдём, — попросил Андрея...

— Да ну... Ничего там нет, да и чапарыга такая, что еле выбрался... Ты хоть поймал чего?

— Нет.

— И я. Видно, не вовремя мы.

Они вернулись в деревню. Прихватили с собой берестяную харю, в избе на стеной гвоздь повесили. Сварили в огороде на костре суп из пакетов, срубали его с остатками хлеба и стали собираться в обратный путь. И Андрей почему-то уже злился:

— Ну, и скучотища... И чего попёрся?.. — Они уже собирали рюкзак. Андрей подержал в руках найденные им две иконы, поглядел на них с обеих сторон и отбросил в угол комнаты.

— Ты чего? — Игорь встрепенулся.

— А чего?.. Не ценные они, точняком, нечего и таскать...

— Ты зачем бросаешь?

— А ты чего, верующий, что ли? — усмехнулся Андрей. Игорь молчал. — Верующий, да? — уже будто бы всерьёз злился Андрей.

Игорь ничего не ответил. Иконы поднял и положил в кухонный стол, где лежала и кое-какая посуда...

— Пошли давай! — скомандовал Андрей.

Они спустились к реке, накачали, толкнули лодку, поплыли вниз по течению. Под бетонными опорами моста лодку закрутило сжатым берегами течением, они едва не перевернулись, но выгребли на спокойную воду. А вскоре их река влилась в большую — неспешную, с пологими берегами... По очереди молча гребли... Вечером, почти уже ночью, были в городе... И потом почему-то никогда не вспоминали эту поездку...

Когда недавно Игорь Игнатьев добрался до Ивановки, берестяной морды в доме не было, иконы лежали нетронутыми в столе (он забрал их в город), а на чердаке нашёл прадедовы письма...

3

Андрей перебирал письма, вернее, их ксерокопии. Игорь не поленился, с каждого копия сделал, подлинники себе оставил. Ну, и правильно, и он, Андрей, так же поступил бы... Письма, действительно, интересные. Да что там интересные — чудо! Да, надо издавать. Андрей уже знал, видел, как он издаст эту книгу, в каком оформлении... Через продажу она, конечно, не окупится, а вот на премию выдвинуть можно. И он уже знал, на какую премию выдвинуть эту книгу, на каких книжных ярмарках выставить — опытный издатель. И издательство крепко на ногах стоит, и уже давно... Да. Ведь и в Москве он скоро уж пятнадцать лет...

...И ему вспомнилась та поездка с Игорем в Ивановку, ставшая рубежом в их отношениях и в судьбе. Наивные те разговоры, изба, рыбалка, костёр, найденная в заброшенной избышке личина... Вот ведь и сейчас в камине огонь, живой вроде бы, настоящий, дом, семья, работа, “положение в обществе”...

Он перевернул очередной лист (копии писем были сделаны на белой офисной бумаге, уложены и скреплены в двух толстых папках с пластиковыми обложками)...

“Это же чудо!.. “Ваш незабвенный сын и брат...” — Андрей Олегович (он давно уже и сам себя привык по отчеству называть) усмехнулся и бережно отложил листок...

— Андрей, — жена заглянула. И он поднялся из кресла, прошёл в столовую. Пили с женой чай. Сын уже спал в своей комнате на втором этаже дома.

— Слушай, а чего он приезжал-то? — спросила жена об Игоре, не называя по имени.

Андрей пожал плечами:

— В гости... — и уже с раздражением добавил: — А ты чем-то недовольна?

— Нет...

Вот и поговорили. Андрей ушёл в кабинет. Но письма больше не хотелось читать. Думалось опять всякое, вспоминалось...

Всё уже налаживалось, всё уже, казалось, утряслось: он, Андрей Игнатьев, отстоял свою территорию в местном бизнесе... Уже не “молодёжное кафе” конца восьмидесятых, а ресторан, сеть магазинов, доля в промышленных предприятиях. Ну, с бывшим первым секретарём и поначалу партнёром по бизнесу Смолкиным разошлись, с обидами, но мирно... И когда в одну ночь всыхнули сразу четыре магазина, а ещё на два были совершены неудавшиеся нападения, на Смолкина и не подумал. Да и не знал, на кого думать... Впрочем, вскоре всё выяснилось: “крышу” предложили “блатные” или

“тюрьма”, как называли их тогда в городе, — группировка профессиональных уголовников. Под “тюрьму” идти не хотелось. Почему в милицию не обратился? Молодой был, хотел доказать, что может сам проблемы решить. Сам-то сам, но пришлось всё же обращаться за помощью к “спортсменам”, да у него и большинство охранников из спортсменов были. “Забрили стрелку” с “тюрьмой”. Сейчас-то он понимает, как всё было неправильно, глупо с самого начала... Он принял их условия. А они назначили встречу в пригородном парке на пятачке конечной остановки автобуса, конечно, всё там подготовили заранее... “Спортсмены” ехали кавалькадой машин, с весёлой музыкой из окон, с бодрыми разговорчиками. Тормознули у хозяйственного магазина, скупчили у растерянных и испуганных продавщиц все черенки от лопат (бейсбольные биты тогда ещё не дошли до их города), укладывали эти черенки в багажники машин... Тут уже Андрей мало что решал, здесь были свои лидеры, они командовали, — в общем, отработывали его заказ. Он, в принципе, мог и не ехать. Но поехал...

Приехали в тот парк. Из машин вылезли. Те уже ждали. Трое стояли посреди асфальтовой площадки, с ухмылочками. Он пошёл. Рядом боксёр шёл, ему почему-то и подал первому руку один из тех, блатных. Вовка — так, кажется, локсёра-то звали — тоже руку подал, а тот левой сверкнувшим мгновенно безвием маханул, в горло целия. Чуть-чуть и не достал. И Вовка его сразу успокоил, тоже левой махнул...

— Ну, понеслась! — кто-то крикнул. И тут из кустов, окружавших площадку, стали выходить... Многие, запомнилось, голые по пояс, синие от наколок. Спортсмены — кто с лопатными черенками, кто с голыми руками на них. Игорь тоже был там зачем-то... И стрелять начали уголовнички. У них уже в кустах стрелки сидели. Боксёр Володя первый же заряд картечи и получил. На машинах с пробитыми колёсами и разбитыми стёклами вырвались оттуда... Володя умер на следующий день в больнице. Удивительно, что кроме него никого не задело. Не страх — ужас, животный ужас тогда охватил Андрея. По дешёвке сдал весь свой бизнес и уехал в Москву. Потом узнал, что через третьи уже руки владельцем всех его магазинов и ресторана стал Смолкин...

В Москве кое-какие связи были, но, в принципе, всё с нуля пришлось начинать. А денег для московского бизнеса у него было маловато... Но нашёл компаньона, такого же, как и сам, недавнего провинциала — “замутили бизнес”... Впрочем, самым удачным бизнесом стала женитьба...

А теперь — махонькое коммерческое издательство да сдаваемая в центре Москвы в элитном доме квартира покойного тестя, ещё лет двадцать назад скромно трудившегося на скромной должности в Кремле, — вот и весь его бизнес. Да этот трёхэтажный дом в ближнем Подмоскowie. Чего ещё надо-то?

И неожиданно для себя он набрал номер мобильного телефона Игоря.

— Да, — отозвался тот.

— Привет, Игорь. Слушай, я, наверное, приеду на днях к тебе. Хочу на Красный Берег съездить...

4

В вагоне спёртый воздух, вагон кидает из стороны в сторону, вагон трясёт на стыках, в вагоне неумолчный гул голосов, нарушаемый лишь вдруг более громким чьим-то голосом.

Семён Игнатьев лежит на самой верхней подпотолочной полке, ему повезло. Шинель его свёрнута и положена под голову, и сам он лежит, закрыв глаза, пытаясь уснуть... И невольно вспоминается разное... Отвальная перед отправкой в армию в четырнадцатом. Молодаяжка по соседним деревням, да и в самой Ивановке гуляла с пьянками, драками и плясками. Мужикам же, таким, как Семён, не до гулянок — успеть бы хоть какие-то дела подедать до отъезда, последние наказы дать жёнам да детям. Партия их, как узнали накануне, собирается в Воздвиженье. Поутру на лодках перебрались в село, отстояли заутреню. Тут и настало последнее прощание с жёнами и матерями... Потом карантинный лагерь где-то под Питером, а оттуда че-

рез полтора месяца и на фронт... А уже через полгода никого из пятнадцати ушедших на войну из Ивановки мужиков и парней рядом не было — раскидала война, кого-то ещё из карантина в другие части направили, кто-то заболел и попал в лазарет, про двоих точно знал Семён, что убиты... Но с Яшкой Поповым, молодым мужиком из Воздвиженья, старались везде рядом держаться. Остатки их разгромленного в Прибалтике полка были отправлены в Петроград на переформирование. Там и увидел он Февральскую революцию, приход к власти Временного правительства. Потом снова фронт, ранение, и вот из госпиталя не в свой полк он поехал, а домой, в деревню родную, как делали тогда многие. Думал ли о том, что дезертирует с фронта? Думал, конечно... Но знал, что сейчас он должен быть дома. Нет у него больше сил на войну. Нет... Да, враг в России — и война, вроде бы, за Россию... Но Россия-то для него вся сжалась в одну родимую деревню. Да, поезд едет по русской земле, и в поезде вагоны забиты русскими, и там, за окнами, на станциях и в деревеньках — русские, но объединяющее начало — государство, власть — их нет. Вот пусть они там разберутся — все эти Советы, “временные” и всякие между собой, пусть объяснят мужику, за что ему воевать, тогда, может, и возьмёт мужик снова винтовку в руки... Так вот — с пятого на десятое — думалось Семёну. Лежал он под самым потолком — духота страшная, курить хочется, спуститься с полки невозможно — внизу всё густо забито сидящими и лежащими людьми, а если слезешь с полки, то уже не вернёшься на неё — займут... И он лежит, прикрыв глаза, закинув руки за голову, волосы уже не такие короткие, как в госпитале, где был острижен “под машинку”, но всё ещё топорщатся по-ежиному. И за правым ухом, где — хорошо хоть, вскользь — садануло осколком, опять будто бы затикали ходики. И это тиканье внутри головы перемешивается с колёсным перестуком, и он уже будто не на жёсткой полке лежит, а на провисающих под тяжестью тела, кольщущихся брезентовых носилках, и грохот, грохот кругом... Да будь она проклята, эта война! Это убийство! Тошнота подступает. Семён делает мелкий глоток из фляжки, и на минуту вроде легчает. Ехать ему, если поезд не встанет где-нибудь на неизвестно долгое время, как уже бывало, до утра следующего дня...

...Ночь была чёрная и тихая. Семён Игнатьев знал, что находится он где-то в Польше. Больше ничего не знал, не запомнил названия городка, на вокзал которого прибыл неделю назад эшелон. Потом ещё пеший марш на позиции на берегу неширокой речки, за которой — “австрияк”, или “фриц”, или “немец” — по-разному называли...

— С Богом! — поочередно отталкиваясь от берега, держась одной рукой за бревно, к которому сверху ещё приторочены сапоги и портянки, а в другой руке, вытянутой над водой, — винтовка, с почти неслышимым всплеском отплывали бойцы в черноту ночи...

На “австрийском” берегу, торопливо, не снимая одежды, отжимали воду с рукавов гимнастёрки, наматывали портянки, натягивали сапоги.

— Попов! — громким шёпотом выкрикивал капитан.

— Я!

— Савельев! Игнатьев!..

“Я”, “здесь”, “тут”, — отзывались так же шёпотом справа и слева...

— Клинько!.. Клинько!.. — хохол Клинько не отзывался.

— Попов — направо, Игнатьев — налево, — приказал капитан Лыкошин, ближним к нему бойцам. — Ищите его. Только тихо, ребята, тихо...

Семён поднялся, одёрнул гимнастёрку. Винтовку держал в правой руке, левой отвлёл ветки куста и пошёл по мокрому песку, по самой кромке воды и суши в сторону охраняемого немцами моста. Скорее всего, туда по течению и снесло Клинько, хотя мог он и выше выгрести, туда пошёл Попов.

— Клинько! — окликал Семён. Тишина была ответом ему.

Из-за тучи выкатилась полная луна, и сразу посреди реки легла серебристая дорожка, и осветился мост, и Семён увидел в пролёте его, между какими-то балками (мост был сложный, металлический, железнодорожный), фигуру часового — почему-то показавшаяся непропорционально большой голова, наверное, в каске, и сверкнувший в лунном свете ножеподобный штгек

винтовки. Семён невольно присел, стараясь слиться с тенью куста. И увидел слева такую же скрюченную фигуру под соседним кустом.

— Клинько!

— Та здесь я! Чего ты орёшь!

— А ты чего тут сидишь! Живо к нашим! — осмелев, прикрикнул Игнатьев.

Так же по кромке, в тени прибрежного ивняка вернулись к своим.

— Попов! — окликнул снова Лыкошин.

— Тут я, вернулся, — откликнулся невысокий, кряжистый, но при этом очень подвижный, рябой лицом Яшка.

— Клинько, рядом со мной иди, не отставай. С Богом ребята, за мной!

Друг за другом, пригибаясь, пошли вглубь вражьего берега. Вскоре вышли на тележную, белесую в лунном свете дорогу, что неспешно плелась вдоль реки. Понимая, что на дороге должен быть сторожевой пост немцев, Лыкошин приказал поочередно и быстро перебежать её. За дорогой снова кусты, и дальше уже негустой сосновый лес. Вдоль дороги, лесом, и двинулись к мосту...

В общем, всё шло пока, как по маслу. И Семён совсем успокоился. Он только старался идти в ногу за Поповым. Хотя знал, что идут “не к тёще на блины”, как сказал Лыкошин ещё вчера днём, обрисовывая предстоящую операцию, но сейчас будто забыл обо всём, и чудилось, что это просто какой-то переход с позиции на позицию, и скоро прозвучит команда “привал”, часовые встанут на посты, остальные разведут костерок, вскипятят чай...

От дороги и прилетел тот окрик, короткий, властный. Все замерли.

“Ложись!” — скомандовал Лыкошин.

— Клинько, говори, говори с ним, — приказал украинцу.

— Пан немец! Не стреляй! — говорил заготовленную фразу Клинько и медленно шёл между стволов на гавкающий голос немца, всё лопоча что-то в ответ.

Лыкошин молча кивнул немногословному и незаметному до тех пор унтеру Савельеву. Тот ответно кивнул, передал свою винтовку Попову и бесшумно двинулся в обход справа. Сам Лыкошин пошёл налево, предварительно скомандовав: “Лежать, ни в коем случае себя не обнаруживать”.

Клинько на удивление артистично исполнял свою роль. Что-то отвечал на непонятные команды немца и медленно шёл в его сторону.

Лыкошин, как договаривались с Савельевым, брал на себя второго (наверняка их было двое), которого ещё надо было обнаружить. Савельев же заходил “в спину” немца, говорившего с Клинько.

Вон он, второй, стоит с краю дороги в тени дерева с винтовкой наизготовку, смотрит на своего товарища, всё более раздражённо подзывающего к себе заплутавшего в поисках коровы мужика.

В секунды всё было кончено. Прикрывая ладонью рот, зажимая вражий предсмертный крик, капитан опускал на траву мёртвое тело, и уже видел, как то же самое делает Савельев. Оттащив мёртвого в кусты, Лыкошин подошёл к Савельеву, туда же вышел из-за деревьев и Клинько, вздрогнул, увидев мертвеца. Вернулись к остальным бойцам.

“За мной!” — скомандовал капитан. И все снова гуськом двинулись за ним. (Казалось, вечность минула с того мгновения, как оттолкнулся каждый из них, держась за бревно, от твёрдого дна у того, “своего” берега, хотя прошло не более часа). Метров через сто Лыкошин, полубернувшись, поднял ладонь — стоп. Все окружили его (всего вместе с самим капитаном их было девять — три тройки).

— Всё помните? — И, не дожидаясь ответа, Лыкошин ещё раз повторил то, о чём говорили и вчера днём, и уже ночью, перед началом операции...

Первая тройка — сам Лыкошин и ещё двое — продвигается к самой дальней пулемётной точке, с правой стороны моста, уже за полотном железной дороги. Главное для них сначала — выдвинуться к месту атаки незамеченными... Вторая тройка, командир которой унтер Савельев и в которую входит и Семён Игнатьев, берёт на себя пулемёт, установленный на мосту, а также караульное помещение в будке путевого обходчика. Третья захватывает ближайший сейчас к ним пулемёт по левую сторону моста...

— С Богом! — кажется, в третий раз за ночь сказал Лыкошин и, пригнувшись, скользнул в темноту соснового подлеска, за ним последовали двое.

— За мной! — хрипло шепнул Савельев, и Семён, крепко сжимая винтовку правой рукой, а левой нащупывая гранату-лимонку в кармане штанов, пошёл за ним.

Луна снова была в тучах, и сейчас это было очень кстати.

Если оборудованную пулемётную точку на мосту разглядывали в бинокль ещё со своего берега, то нахождение двух других, справа и слева от моста, знали лишь примерно. И надежда была на то, что когда начнётся шумиха у моста, пулемётные расчёты как-то проявят себя, обнаружат. Главное, чтобы все вовремя оказались на своих местах.

Семён всё время видел идущего впереди унтера Савельева. А вон уж и будка обходчика — жёлтый квадрат окна. Савельев скомандовал залечь. Семён Игнатьев видел, что Лыкошин и его бойцы (последним шёл Попов) благополучно, незамеченными, проскочили через “железку”. Савельев кивнул Семёну Игнатьеву. Семён кивнул в ответ, достал рубчатую гранату, удобно вложил в ладонь. И вдруг с ужасом ощутил, что граната прилипла к ладони, что, наверное, он не сможет бросить её... Сотни раз он делал это за последние три дня — бросал гранату в цель, и это была главная его задача в этой операции, и вот сейчас, когда до решающего мгновения остаются секунды, Семён Игнатьев совсем не был уверен в том, что сможет это сделать, но что-то объяснять было уже поздно... Савельев кивнул солдату Мартынову, и они бесшумно двинулись ещё ближе к мосту. Игнатьев смотрел на унтера, ждал. И вот тот остановился, оглянулся на Семёна, поднял левую руку и резко опустил её, будто и сам что-то с силой бросил себе под ноги. Семён, уже не скрываясь, поднялся во весь рост, выдернул чеку, коротко замахнулся и бросил. Звон стекла подсказал, что он не промахнулся... Одновременно со вспышкой и коротким громом он упал, потом сразу вскочил, пригнувшись, побежал, передёргивая затвор винтовки. Он не слышал выстрелов и криков впереди, сбоку и сзади себя, не думал — что на других участках атаки, — а лишь выполнял те действия, которые подробно и терпеливо объяснял ему Лыкошин. Подскочив к развороченному окну, Семён, сунув винтовку внутрь, выстрелил, и ещё, и ещё... Подбежал к двери, толкнул плечом, шагнул... Слева двумя руками немец ухватился за его винтовку, рванул вперёд и вбок, сделал ещё и подножку, винтовка вылетела из рук, но и немец не удержал её. Семён упал, ощутив под собой что-то мягкое, вскочил... Станным образом непоколебленно стоял посреди небольшой комнаты стол, и на нём — керосиновая лампа, не упавшая, не разбившаяся, дававшая ровный свет, три мёртвых тела, опрокинутые стулья, какие-то тряпки по всему полу, стекло... Всё это в единую секунду увидел Семён. Немец, видимо, офицер, невысокий, русоволосый, глядел на него льдистыми глазами и в руке его был кинжал. Именно кинжал, а не нож, так понял Семён, никогда раньше кинжалов не видевший... По всему берегу слышна трескотня выстрелов, значит, пулемёты ещё не захвачены, а уже торопится, наверняка, к немцам подмога от недалёкой, в полуверсте, деревни, и уже сейчас Семён должен занять оборону либо в этом здании, либо на улице рядом с ним и встречать огнём набегающих “фрицев”. И мешает ему это сделать вот этот офицер... Удивительно чётко всё это думалось. Взмах руки с кинжалом и бросок Семёна совпали. Обхватив обе ноги немца, он сбил его своим весом, будто пытаясь вдавить, вбить в стену. И, захватив левой рукой руку с кинжалом, правой, как молотом, сверху бил и бил в лицо, в голову, и уже через красную липкую муть ничего не видел перед собой...

Грохнул выстрел, и то, во что так яростно бил Семён Игнатьев, провалилось куда-то...

— Всё, всё, Семён! Ранен?

Попов это. Яша Попов... А за стенами уже стучали пулемёты, развёрнутые в сторону немцев, по мосту бежали с винтовками наперевес русские солдаты, и немец-часовой, зачем-то стоявший посреди моста, тот самый, которого видел Семён в лунном свете, бросил винтовку в реку и стоял на коленях с поднятыми руками. Мост и плацдарм на берегу были захвачены.

...Через полтора месяца русские войска, взорвав мост, отступили сначала на двадцать вёрст восточнее, потом ещё и ещё...

А в том бою был тяжело ранен рядовой Клинько и убит наповал шальной пулей-дурой капитан Лыкошин. Рана же Семёна Игнатьева оказалась неопасной: офицерский немецкий кинжал лишь рассёк кожу на лбу. Уже через неделю Семён был снова в своей роте. В полной мере испытал он и отступления, и долгие позиционные бои. Как опытный уже разведчик, несколько раз ходил “в операции”. Шрам остался на всю жизнь. Но чтобы он не так был заметен, Семён привык собирать кожу на лбу в морщины, и со временем шрам стал неотличим от морщин, избородивших лоб... И вся та первая операция, весь бой, и холодная вода реки, и лунный свет, и прилипшая к ладони лимонка — всё это вспомнилось, пережилось в странном сне на верхней полке душного, дёрганого, переполненного вагона в составе такого же поезда через Россию, потерявшую власть царскую, не признавшую власть “временную” и уже будто чью-то новую — железную, безжалостную...

Глава четвёртая

1

Дед и внук вышли из автобуса — тряского “пазика”, бегавшего от города до Жукова, теперь довольно большого посёлка, а когда-то, дед помнил то время, скромной деревни. Дальше путь их до Воздвиженья — километров десять ещё.

Деда зовут Александр Васильевич. Это крепкий, высокий, с седыми волосами, выбивающимися из-под лёгкой матерчатой кепочки, мужчина. За спиной его — полупустой рюкзак. Внука, мальчишку лет десяти-одиннадцати, зовут Мишка. Волосёнки у него светло-русые, чуть ли не белые, выгоревшие на солнце. Фигурой и осанкой он очень похож на деда.

— Кепарик-то надень, голову напечёт, — говорит Мишке Александр Васильевич.

Мальчишка достал из сумки, висящей сбоку на ремне, бейсболку, натянул козырьком к уху. Пошли. Сперва по поселковой улице, мимо крепких домов с палисадами, в которых яблони, кусты смородины, цветы. Через неплотные заборы видны огороды, ботва картошки уже на полметра вымахала — урожайный год. Видно, что люди здесь живут крепко, надёжно...

Но попадаются и заброшенные кособокие домишки... На соседней улице видны панельные пятиэтажки, как в городе. И магазин, неожиданно оказавшийся на выходе из деревни, имел городской вид: одноэтажный кирпичный дом с широким крыльцом и стеклянными дверями. И даже два мужика вполне трудоспособного возраста пили, сидя на ступенях крыльца, пиво из банок — тоже по-городскому...

На краю посёлка кончился асфальт, началась бетонка — хорошая дорога! По правую руку тянулись кустарниковые заросли, по левую — глубоко-жёлтого цвета поле.

— А это что, дедушка? — спросил внук.

— Ячень, — коротко ответил дед.

Комбайн работал у самой дороги. Споро выстригал поле. Какой-то необычный комбайн — с английскими буквами на боку, никогда не видывал таких Александр Васильевич. Вдруг он стал, из кабины прыгнул человек и торопливо пошёл к дороге. И Александр Васильевич стал, поняв, что комбайнёр идёт к ним, остановился и Мишка.

— Здравствуйте! — обратился к ним комбайнёр, средних лет мужчина в кепке, клетчатой рубашке и затёртых джинсах, с красным от загара лицом и руками. — Извини, отец, закурить не будет? Обсох.

— И ты, брат, извини — бросил.

— А-а... — мужчина подошёл вплотную, протянул руку.

— Водички попей, — сказал дед, пожимая жёсткую ладонь.

— Да вода-то есть у меня... — ответил, принимая бутылку, всё же сделал глоток. — Далеко шагаете?

— До Воздвижения и на Красный Берег.

— Далеко. А чего там?

— Родина, — коротко ответил Александр Васильевич. — Хорошая техника? — в свою очередь спросил, кивнув на заграничный комбайн.

— Хорошая. За сутки тут уберу. А “Кубань” бы трое суток ползала...

— Значит, оживаем?

— Да мы и не умирали, — ответил комбайнёр. — Хорошая машина, да больно уж дорогая, — добавил ещё про комбайн. — В долги колхоз-то залез... Ну, это председателя забота, а наше дело — пахать-сеять-убирать... О, Пашка едет, ссыпаться надо. — По дороге в их сторону пылил “Камаз” с высокими бортами. — Ну, давайте, счастливо. Скоро на карьер пойдут, так подбросят вас. — И мужчина замахал водителю “Камаза”, а дед и внук двинулись дальше своей дорогой.

Всё чаще стали попадаться высоченные дылды с зелёным, в руку толщину стволем, зонтичными соцветиями и огромными мохнатыми листьями.

— Ишь ты, как разрослась-то зараза... — качал головой дед, глядя на эти растения.

— А это чего, дед? — спросил Мишка и потянулся к колючему листу.

— Не тронь! — одёрнул внука Александр Васильевич. — С ним идти рядом опасно, не то что трогать, — ожог будет. Борщевик это. Думали им коров наших кормить, да не по вкусу пришёлся...

А стены борщевика вдоль дороги становились всё плотнее и всё выше — метра в два уже. И становилось даже страшно, какой-то не родной пейзаж кругом — джунгли...

Они шли уже примерно полчаса. Солнце в зенит выкатило, на небе — ни облачка, воздух наполнился горячим настоем цветов борщевика и травы, плиты бетонки накалились. Тишина была — до звона. Птицы, насекомые — все где-то затаились, пережидали зной.

Мишка сначала шёл споро, сшибал ещё на ходу вичкой пыльные цветки придорожных одуванов, но вскоре заметно приустал, часто прикладывался к бутылке с водой.

Сзади, со стороны Жукова послышался нарастающий гул — их догонял самосвал. Александр Васильевич глянул на Мишку (тот уже совсем раскис) и махнул рукой, прося машину остановиться. И машина встала. Водитель, молодой рыжеватый парень, приоткрыл дверцу справа от себя.

— Здравствуйте, до Воздвиженья не подбросите? — спросил дед.

— Залазьте! — откликнулся шофер, и когда они уже устраивались в кабине, добавил: — До Воздвиженья не довезу, а до отворотки на карьер подброшу.

— А что за карьер-то? — спросил Александр Васильевич.

— На строительство дороги землю берём.

Поехали. Машина вздрагивала на каждом стыке плит...

— Борщевик-то вымахал, а?..

— Да уж...

— И чего, как-то борются с ним? — поинтересовался Александр Васильевич.

— А кому бороться-то... Не знаю... Я, дак, думаю — это вредительство какое-то, — высказал вдруг мысль, давно, видно, его волновавшую, водитель. — Здесь ладно, вдоль дороги, а ведь и целые поля зарастают, и живучая, говорят, зараза-то — не сразу и одолеешь.

— И не только у нас, весь север зарастает... Если и не сознательное вредительство, то преступное головоугодничество точно, — поддержал парня старик.

— Верно, отец, — согласился водитель.

Машина, хоть и подпрыгивала на стыках, ехала быстро, ветерок, влетающий в приоткрытые форточки, приятно охлаждал лица. Над лобовым стеклом дёргался, будто в дикой пляске, сплетённый из трубочек капельницы человек, а над бардачком была прикреплена иконка — Иисус, поднявший

в благословении руку... Александр Васильевич подумал, как бы не продуло внука, попытался прикрыть форточку со своей стороны.

— Она не закрывается, — флегматично заметил водитель.

— Дед, так хорошо, не надо... — попросил внук.

Вскоре машина остановилась — резко, как споткнулась.

— Приехали, километра три вам осталось. А чего в Воздвижение-то, там же никого нет? — поинтересовался парень.

— Надо, — без лишних объяснений ответил дед. — Спасибо, счастливо тебе.

— И вам счастливо! — откликнулся парень, захлопывая дверь.

И машина резко уехала направо, вздымая за собой пыль, туда, где виднелись отвалы, напоминавшие горы, и слышен был звук работающего экскаватора.

А Александр Васильевич с Мишкой пошли налево по грунтовой, явно давно неезженной дороге. Борщевик здесь сошёл на нет, и лесные заросли — тёмные ели, солнечные осинки, трепетные берёзы, напоенные светом кусты и травы — вдоль дороги были приветливыми, зовущими за грибной удачей...

В старых тракторных колеях кое-где стояла вода, подёрнутая ряской, прямо на дороге росли подорожники и нежно-голубые цветы незабудок, на сухих местах то и дело виднелись кротовьи кучи. Трясогузка прыгала впереди них, будто прометая хвостом дорожку, когда они приближались, она перелетала вперёд и опять мела хвостиком...

Лес по сторонам дороги раздвигался, редел, и вскоре явно увиделось, что это поля, заросшие кустарником и мелколесьем. Помнил Александр Васильевич, как плыли по этим полям, выстроившись в ряд, комбайны...

Село стояло на пологом холме, и со стороны казалось, что оно не изменилось, что всё та же жизнь в нём: два длинных низких здания — фермы, крайний дом села — высокий, с окнами под крышей, где-то дальше — здания школы и сельсовета, избы. Как и в прежние годы, над всем возвышается колокольня в окружении зелёных шапок старых лип, осеняющих могилы...

— Воздвижение... — выдохнул Александр Васильевич.

— Пришли, да? Дед, пришли? — внук нетерпеливо дёрнул деда за рукав.

— Сегодня пришли. Тут ночевать будем, а завтра на Красный Берег.

— А почему Красный Берег?

— Красный, значит, красивый... И Красная площадь по тому же красная.

Дед почему-то не пошёл сразу туда, к деревне, присел в тени под кустами.

— Передохнём здесь, Мишка, — сказал.

И Мишка присел рядом с ним, подмяв траву. Достал из сумки бутылку с водой, отпил, протянул деду. Александр Васильевич сделал глоток, кадк его при этом сильно дёрнулся. Дед закашлялся, видно, поперхнулся. Справившись с кашлем, закрутил крышку на бутылке, вернул внуку.

— Ну, пойдём, Михаил, надо и о ночлеге подумать. На Красный Берег уж завтра.

— Пойдём.

Фермы зияли чёрными пустыми окнами, крыши в прорехах... Мёртвой пустотой от них веяло... И первый дом — мёртвый, и второй... И здание школы, а когда-то усадьба Зуевых... Мишку охватил страх. А Александр Васильевич будто окаменел, будто оглушила его эта мёртвая тишина. И ведь он знал, ожидал, что будет так... Он и внука-то, может, взял, чтобы не одному... И вдруг в этой пустой тишине обозначился звук, живой звук.

2

Звук — то ли удары камня о камень, то ли камня о металл — доносился от храма.

Туда и пошли через заросшую крапивой и лопухом улицу, мимо скелетов-оград полуразваленных домов... Он и теперь — с обшарпанными стена-

ми, пустыми окнами, с выбитыми воротами, без креста над куполом — величественно высился над округой. Близ него — кладбище. Кособоко стоящие или вовсе лежащие старые каменные памятники, погнутые металлические кресты — это всё ещё с дореволюционных времён, подальше от стен храма — кое-где сохранившиеся оградки, железные или деревянные пирамидки с крестиками или звёздочками — могилы времён более близких. И над могилами дерева — могучие старые липы, берёзы, разросшийся понизу кустарник — шиповник да малина. Крапива, лопухи... И верилось бы, что это и есть земное воплощение вечного покоя, если б не эти звуки.

Когда дед и внук, минуя могилы, едва заметной, сжатой крапивой да кустами тропкой подошли к пустому, без ворот, входу в храм, стук тот прекратился, послышался какой-то скрип, будто стонулась телега с немазаными колёсами. Навстречу им через дверной проём выкатилась тачка, затем появился и человек, толкавший её. Тачка была высоко гружена битым кирпичом и прочим мусором. Человек, почувствовав их присутствие, поднял глаза, увидел, опустил рукояти, утвердил тачку на земле, выпрямился. Был он невысокий, коренастый, с седыми, довольно длинными волосами, клочковатой бородкой, с глубокими, будто шрамы, морщинами от крыльев носа к жёстким углам рта, твёрдыми серыми глазами. Одет был в брезентовую куртку, джинсы, на ногах — потрёпанные кроссовки.

— Здравствуйте, — первым сказал Александр Васильевич.

— Здравствуйте, — не слишком приветливо отозвался незнакомец.

И стояли друг против друга, не зная, что говорить или делать.

— Сергей, — сказал первым незнакомец и протянул руку.

— Александр Васильевич, — представился дед, пожимая твёрдую ладонь.

— А тебя, как, оголец, кличут? — обратился Сергей к мальчику.

— Миша.

— А меня — дядя Серёжа... Какими судьбами?.. — осторожно спросил.

— Да так... На тот берег нам, — ответил дед, пристально вглядываясь в этого странноватого человека.

— Поздно уже, темнеет. Ночуйте у меня, если что, — предложил Сергей. — Пойдёмте...

Александр Васильевич был почти уверен, что узнал его, и всё же сомнение оставалось. Сомневался он, идти ли за ним, если это тот, о ком он подумал. Но видел он и то, как устал внук...

Сбоку от тропы, за кустами, увидел Александр Васильевич кучу мусора.

— Там всё равно болотина, могил нету, — пояснил Сергей, заметив его взгляд.

— Я знаю.

— Местный?

— Местный... С Красного Берега родом.

— И я оттуда.

И почему-то оба и сейчас не спросили фамилии, будто оставляя себе возможность для узнавания.

Привёл он их к недалёкому дому, ещё довольно крепко стоящему на земле. Из трёх окон, выходящих на улицу, два были заколочены досками, третье отражало мутным стеклом склонявшееся к заречному лесу солнце. Полуогнившие тёмно-серые ступени крыльца, а одна ступень — светлая, видно, недавно поставленная. Полумрак и запах пыли на мосту, соединяющем жилое помещение и двор... Мишка опасно держался за руку деда. Вошли в избу со следами наведения порядка — по углам распаханы какие-то тряпки, бумаги, перед окном — стол, ни занавески на окне, ни клеёнки или какой газеты на столе, пара табуретов, лавка вдоль стены, металлическая кровать, закинутая старым лоскутным одеялом, из-под которого виден матрас с вылезавшей через дыру ватой. А в углу — тёмная икона в простом деревянном окладе. И Сергей, входя, перекрестился на неё, быстро, будто стесняясь... Александр Васильевич потянул, было, руку ко лбу, но почему-то не перекрестился...

— Вот тут и обитаю, располагайтесь. Щас самовар вздуем. Тут и ночуйте, места хватит. Утром лодку дам, — говорил хозяин, ловко “вздувая” са-

мовар: засыпая угли, подпаливая лучинки, устанавливая железный трубак одним концом в самоварную трубу, другим — в отверстие большой, занимающей, наверное, половину комнаты печи с просторным устьем, заставленным заслонкой. Мишка с интересом наблюдал за манипуляциями с самоваром. Раньше он видел лишь электрический. А в этой пустой деревне, как он понял, и электричества-то не было...

Чай заварили со смородиновым листом. Мишка никогда такого не пил и осоловел от духмяного, сладкого напитка...

— Э-э, да ты, брат, усыпаешь... — Александр Васильевич прижал Мишку к себе. — Куда уложим-то? — спросил у Сергея.

— На печь можно, там одеяло есть...

Дед уложил внука на печь, где лежало старое одеяло. Какой-то пальтушкой ещё закинул.

Снова уселись за стол. Сергей запалил керосиновую лампу. За окном быстро стемнело, и какая-то крупная и лохматая жёлтая звезда всё время мигала в глаза, когда Александр Васильевич взглядывал в окно.

— Ты Куликов, да... — то ли спросил, то ли констатировал Игнатъев.

— Куликов, — кивнул Сергей. И продолжил без всяких вступлений. — Второй срок отмотал — в монастырь пошёл. Два года там был. А чувствую, что-то должен сделать... Вот...

— И думаешь, что получится?

— Должно получиться... Не веришь? Боишься меня?.. — И он остро (но, как определил для себя Игнатъев, неопасно) взглянул на собеседника. — Не бойся... Теперь уж могу рассказать, если хочешь...

Александр Васильевич неуверенно пожал плечами.

— Я тогда уже неделю пил, не просыхая. И ещё хотелось, а денег не было, и продать из дома нечего, да и кто купит-то... А выпить надо, и всё тут... Помню, вышел, сел на крыльцо и вдруг чувствую, будто бы и живой я, а шевельнуться не могу, и кто-то берёт меня за голову и начинает её откручивать, как гайку с болта... И открутил!.. И другую — мою, но другую — обратно прикрутил. И в той-то другой — уже всё было, что я должен был сделать, и я сделал... Не бойся, не бойся... Всё так и было, но больше не будет. Мне потом уж священник объяснил... Да ты мне не веришь всё равно, — Куликов улыбнулся, и улыбка сейчас у него была простая, открытая. — А в Бога-то веришь? Надо верить, надо... Невозможно без этого жить... — И замолчал, махнул рукой.

Александр Васильевич отвернулся к окну, и лохматая жёлтая звезда мигнула в глаза.

— Я сперва только умереть хотел. Казни себе желал, — опять сказал Куликов.

— Я, вообще-то, против смертной казни, — неохотно, да всё же вроде бы и поддержал разговор Александр Васильевич, — но есть ведь такие, не люди уже...

— Да-да, и я против казни сейчас. Потому что... Ну, ведь и казнь кто-то исполнять должен. Да? — зачем-то попросил вдруг подтверждения у Игнатъева. Тот кивнул. — А ведь казнь — это тоже убийство, только законное... Нет. Нельзя убивать, и не должно быть такого закона, — убеждённо говорил Сергей. Видно было, что всё это наболело в нём, что давно уже ждал случая высказать эти мысли.

— Но изоляция должна быть абсолютная! — продолжал яростно.

— Ты потише, парня мне разбудишь... — пришлось даже попридержать его Игнатъеву.

— Да-да... Вот... Изоляция, чтобы никаких телевизоров. Из книг — только Евангелие. И чтоб точно знал, что это уже навсегда, до конца...

— Ну, ты-то вот вышел, — не удержался, поддел его Игнатъев. Его уже всерьёз раздражал этот монолог. “Вон как ты теперь говоришь, — думал он. — А двоих-то за бутылку, за бутылку!..”

— Да я бы и не вышел, да ведь и там не оставляют, а там-то, может, да в одиночке-то и легче было бы... Ведь когда... веришь — это уже не одиночка, это келья... Ладно, ты извини...

А Игнатъев спросил:

— Ты, Сергей, был на том-то берегу, на нашем?

— Был. Но пока здесь, пока здесь...

— Ну, а мы завтра туда махнём, с утра только могилки обойдём.

Куликов кивнул понимающе.

— Ну, чего... Александр...

— Да-да... Александр я, Игнатъев...

— Редко видел тебя. Ты же намного старше. Уехал рано, приезжал редко.

— Да-да...

— Ну, давай, что ли, ложиться?

— Давай.

И Куликов лёг на свою скрипучую кровать, а Игнатъев влез на широкую печь и лёг рядом с внуком, который, сладко посапывая, видел какие-то сны.

...Ноги натружено болели (давно уж так много не ходил). Лёг сперва на правый бок, но сразу заболело плечо (и на мягком городском диване болели суставы, а тут — печь), улёгся на спину, вперился бессонными глазами в темноту.

Думалось о том, что завтра увидит родной дом (сегодня специально даже к берегу не пошёл, хотя их дом виден с этого берега), и вспоминалось всякое из той, прежней, жизни. И даже не верилось, что это он, Александр Игнатъев, был в той жизни.

...Помнились “праздники урожая”, по-старинному — дожинки, когда зерно наконец-то бывало убрано; когда отцы его друзей-мальчишек наконец-то появлялись дома не только ночами; когда и его отец — председатель, — отмаявшись наконец-то, позволял себе просто отоспаться, не торопясь попариться в бане... Вот тогда выставлялись прямо на улицу столы. Сначала козлы ставились, на них укладывались длинные столешницы (всё это хранилось в каком-то колхозном сарае), выносились скамейки из изб, тащилась сюда же посуда. Уже с утра пеклись в пекарне караваи, варилась в двух огромных котлах на берегу уха, а в двух других котлах — мясо. И все с утра уже были радостные и не злые. И ближе к обеду, наконец, усаживались: во главе стола — отец, рядом — парторг, тут же обязательно и агроном, и зоотехник, и бригадиры, а бывало, что и кто-то из районного начальства... И вот после третьей-четвёртой стопки начинались разговоры, кто-то затягивал песню, её подхватывали... Бывало, что и мать первой выводила: “Окрасился месяц багрянцем...” У них, мальчишек, вот в этот момент было развлечение: нырнуть под столы с одного конца и, стараясь никого не задеть, не проявив себя, пролезть под всем застольем и вынырнуть с другого конца. Всегда кого-нибудь всё же хватали за ворот рубахи, чаще всего обходилось тихо-мирно, ну, скажут что-нибудь вроде: “Ты чего тут шастаешь? А ну, кыш!...” И сейчас он полз на четвереньках, а столы длинные, и уж болят колени... И Александр Васильевич очнулся, действительно, от боли в коленях и услышал, как шуршит за окном дождь...

И вновь вроде бы задремал. То ли сон, то ли сердечная память в детство вернули: наверное, уроки в школе уже закончились, но мальчишки с Красного Берега к парому не спешили, вместе с воздвиженскими устроили игру в полуразваленной церкви (она пустовала, потихоньку рушилась без пригляда, от использования под клуб или склад спасало, наверное, кладбище вокруг неё, на котором и в ту пору ещё хоронили). Лучшего места для игры в “войнушку”, в “казаки-разбойники” или в прятки, казалось мальчишкам, и не придумать... Во что играли в тот день... Нет, не вспомнить... Но он, пятиклассник Сашка Игнатъев, оказался один в дальнем от входа конце храма с закруглённой стеной (алтарь это был — уже нынешним знанием понимал Александр Васильевич), отделённом от остальной просторной части храма колоннами, полуразваленной стеной, старыми досками. Было там почти совсем темно. Слышались голоса приятелей, еле проникал свет, пахло кирпичной пылью и прелью... Сашка сидел, затаив дыхание... И вдруг прямо перед ним появился золотисто-прозрачный столб... Нет, это не те ши-

рокие полосы света, что льются из-под купола в центре храма, нет, нет... Именно золотой столб — откуда-то сверху, будто бы и сквозь кирпичный свод опустился. И не страшно совсем. И видно, как золотые чешуйки внутри этого столба переливаются, спуют... И уже будто где-то в другом мире он и слышит голос: “О чём печаль твоя?” А он ни о чём и не печалился, но будто бы ответил-подумал: “По русскому двойки”. “Всё пройдёт. Всё вернётся. Будешь учиться, будут многие знания, будет печаль. Будет крест и жизнь”... И ведь забыл он, в тот же день и забыл всё. И сейчас, снова открыв глаза в темноту, он силится вспомнить — было это на самом деле или только что и приснилось. Было, всё было, и что-то ещё будет... Будет, будет... И ведь по русскому-то с тех пор на пятёрки учился. Да, да... И по всем другим предметам. И всё больше, больше хотелось ему знать — и он прочитывал учебники ещё в начале года, брал из библиотеки и ночами засиживался над книгами.

Хотелось, очень хотелось ему учиться в городе. Просился в училище — не пустили, не выдали на руки “метрики”. После армии уже, не заезжая домой, подал документы в институт. И лишь когда увидел приказ о зачислении, в родную деревню подался, но вскоре покинул её уже надолго, вся жизнь его уже городской стала...

Дождь шуршал за окном, и мысли путались, и уже не поймёшь — где сон, где явь. Зачем он здесь? Да и где он?.. Мишка дрыгнул ногой и снова разбудил деда... И он ещё долго лежал с открытыми в темноту глазами...

3

Сергей Куликов тоже вспоминал — своё...

...Забрали Сергея Куликова за высокий забор из одной страны, а вышел он через десять лет в другую — перестройка, гласность и ускорение будоражили умы...

Поехал в родные края, конечно, а куда больше-то... А там какое ускорение — умирание... Родного дома и вовсе не нашёл. Сестра продала “на вывоз”, да и сама куда-то с мужем-офицером уехала. Отца Сергей не помнил, мать сгорела от горя в первый же год после того, как его посадили... Побродил он по Ивановке. Зашёл к соседке, старухе Якуничевой, с сыном её Борькой дружили. Да оказалось, что и Борьки-то уж нет в живых, нырнул по пьяни в ледяную весеннюю воду, у мостовых свай в десятке километров вниз по течению тело вытащили... Не стал и заходить к Якуничевой, хоть и звала в избу, страх стараясь не показывать, через калитку поговорили, да и пошёл Серёга своей дорогой. Встретил ещё мальчишку Игнатьева на берегу, сына вот этого Александра, тоже, кажется, напугал...

И куда было идти... Страна большая — два года ходил-ездил, нигде не зацепился. Второй срок за грабёж получил — вернулся туда, откуда вышел. Теперь уж “оором”, то есть особо опасным рецидивистом стал. “В авторитете” на зоне был...

Времена менялись, с запозданием, но и через лагерный забор новые вёшня залетали. Появилась сначала молельная комната, потом церковку поставили. Священник — немолодой и неприветливый с виду бородатый мужик — приезжал по церковным праздникам. Ходили — всё развлечение. Захотелось и Куликову с новым человеком поговорить. Всё выложил священнику, ещё и посматривал на него — как, мол, впечатляет? Ничего было не понять по лицу священника... Не впечатлило, в общем.

— Ты к следующему воскресенью попустишь, молитвы почитай, тогда уж и исповедуйся... — сказал отец Илья.

— Рассказал вот тебе, отец, а на душе-то легче не стало, — желая и поддеть священника, отозвался Куликов.

— А ты как думал... То, что тяжело на душе, — это уже хорошо. Каяться надо, каяться... А как каяться, если не веришь?

— А как поверить-то? — уже серьёзно спросил Сергей.

— Не знаю...

— А ты как поверил?

— Поверил, и всё... Ты, главное, не думай, что такой уж пропащий, от-

петый. Ведь такой же разбойник первым за Господом в Царствие Его пошёл... Вот, возьми, почитай. В воскресенье ещё поговорим.

И уже уходя, направляясь к административному корпусу, где стояла его чёрная “Волга”, отец Илья остановился, обернулся, и Куликов к нему шагнул:

— Ты вспомни, что ты любил, детство вспомни, мать... Всё в нас, и вера в нас... — сказал ему священник.

На том и расстались в тот день.

Был потом Сергей Куликов старостой церковной общины в зоне. Так у него обернулось.

Двенадцать лет прошли-пролетели.

И опять — куда?

Поначалу у отца Илья в городском храме подвизался — и завхоз, и плотник, и слесарь, и ночной сторож. Ещё два года...

Отец Илья сгорел как-то быстро от непонятной внутренней болезни. Сергей сам и могилу для него копал. Прогнал пьяненьких кладбищенских копалей.

А потом снова на родину поехал, через полстраны...

И чем ближе — тем тревожней. И хочется поскорей в родные места, и боязно, и... стыдно.

От города до Жукова на автобусе доехал. Хотел через Воздвиженье сперва на Красный Берег добираться, да в Жукове подсказали, что в Воздвиженьи-то нет никого, может, и лодку не найти будет. Двинул в обход, через мост. Пешком пошёл и попутки не тормозил. Шёл и будто специально себя придерживал, отдаляя неизбежное, зовущее...

Вот и река, и мост — обновлённый в какие-то без него, Сергея Куликова, утёкшие в этой воде годы. На бетонных сваях. Теперь уж не снесёт ледоходом. А деревеньки, что стояли соединённые мостом на обоих берегах реки... Той, что на том, на Красном Берегу, нет вовсе, только трава да кусты с этого берега видны, а на этом, где стоит сейчас Сергей Куликов, — пара домов с провалившимися крышами и ещё заметные вытянутые бугры, густо поросшие травой, — бывшие огородные грядки. Кое-где, как болячки, торчат из зарослей крапивы и набирающего цвет кипрея обломки брёвен и досок... “Неужели и в Ивановке так же?” — невольно думается Куликову. И щемит, щемит сердце тягучая боль...

Розовая придорожная часовенка распахнута во все стороны выбитыми дверями и оконцами... Сколько раз в детстве проезжал и пробежал мимо, а будто часовенку эту и не замечал. Как и сохранилась-то, хоть и бескрестая...

Куликов не сразу на мост ступил, спустился сначала к реке, по крутому здесь берегу съехал почти к песчаной кромке. Присел, склонился, опустил зачем-то в воду руки с наколотыми на пальцах перстнями...

Вода здесь, стиснутая высокими берегами, быстрая, и отражения берегов, моста и человека колышутся, будто пытаются уплыть вместе с водой...

В такую же пору с Борькой Якуничевым и смастерили плотик в береговом леске за Ивановкой, на воду столкнули. Мечтали до города доплыть, а там и дальше, дальше, до океана. Когда к мосту их вынесло — страху уж натерпелись. Шест до дна не доставал, и несло их середкой реки на шатком плотике, боялись и пошевелиться, чтоб не опрокинуться... Плот шибануло о сваю, с треском выдрало скреплявшие бревна бруски, и в одно мгновение оба “мореплавателя” оказались в воде... Как их брёвнами не пришибло, как сумели удержаться на воде до излученной отмели ниже по течению?.. Значит, так надо было... И вспомнил Куликов, что здесь Борьку-то, тело его, потом и вытащили... Но это уж без него, без Серёги, он тогда первый срок тянул... Каждому своя судьба. И вот его, Сергея Куликова, поседевшего, прихрамывающего из-за лагерной травмы, обросшего седой уже бородой, одетого в одежку из тех, что приносят в церковь прихожане для нищих и малоимущих, принимаемого, конечно, за бродягу (“бомжа” по-нынешнему), привела эта судьба к родной реке... А скоро ступит он и на родной берег...

...Ивановка же, на удивление, встретила его стрекотом трактора в поле, стуком топоров на строящейся... ферме, что ли?..

Он не пошёл сразу к людям. Обогнул стороной. Вошёл в пустую деревню. Многих домов уж нет, пустыри, крапивою заросшие, на их месте, да и те избы, что ещё держатся... Вот именно, только что держаться еле-еле за землю... А на месте их дома уже и не пустырь, что был в прошлый, давний его приход сюда, — заросли одичавшей малины, высокие, в три его роста, осины, сомкнувшиеся кронами, кочкастое осоковое болотце на месте пруда...

“Это хотел ты увидеть?.. Увидел, и что дальше?..”

...Познакомился, конечно, с Моториным, организовавшим в осиротевшей за последние годы Ивановке крестьянско-фермерское хозяйство, а с женой его Ольгой вместе ведь в школу ходили, только она на два класса помладше его была... Поговорили.

— Так чего, и не выпьешь? — спрашивал неунывающий фермер.

— Нет.

— Ну, пойдём, лодку поищем... Так пойдёшь ко мне работать-то?

— Подумаю ещё...

По берегу кое-где лежали оставшиеся от бывших жителей лодки. Отыскали приличную “дюральку”, и вёсла даже нашлись...

— Так хоть ночевать-то приплывай, места в доме хватит...

— Спасибо. Не беспокойся за меня... Куда мне деваться-то... Приду.

Солнце уже опускалось в створе берегов, казалось, что в то дальнейшее болото, из которого и брала свой исток река.

Лодка пересекла чешуйчатую солнечную дорожку и ткнулась в Воздвиженский берег. Купол церкви высился над кронами деревьев... И тоже ведь раньше будто не замечал, что нет креста-то над храмом...

Уже в сумерках, но всё же нашёл могилы отца и матери в единой ограде...

Откуда-то вдруг ветер налетел, умогильная берёза веткой хлестнула. И дождь заморосил. А когда встал Куликов под арку храмового входа — сверкнула, разрезая сразу на много кусков тёмное небо, многоветвиная молния...

Он вошел внутрь. В освещаемом через проломы и окна, через подкупольные оконца пространстве глядели на него со стен, испещрённых похабными надписями, через полуосыпавшуюся побелку строгие старцы, и жутко стало от их взглядов. Он посмотрел вверх, и взгляд, который невозможно было выдержать, пронзил его. Он оступился (доски пола были выворочены, валялись, полусгнившие, вкривь и вкось), упал, и обожгло левую щеку. Коснулся рукой — почувствовал, как стекает по бороде кровь.

4

Путру снова пошли на кладбище. Вчера, на ночь глядя, Александр Васильевич не стал искать родные могилы... После ночного дождя дороги и тропки размокли, расплывались под ногами, кладбищенская трава сразу намочила брюки, с ветвей, листьев деревьев и беспорядочно разросшихся кустов то и дело окатывал их холодный душ... Кладбище вокруг церкви было давно заброшенное, будто и оно, само пристанище мёртвых, умерло вместе с селом. С трудом, но нашёл Александр Васильевич могилу матери (отец лежал на городском кладбище) в деревянной, хотя изрядно покосившейся, но не упавшей ограде. И крест, из арматуры сваренный в колхозной мастерской, ржавый, но стоял... А вот деда и бабушку уже не нашёл. Да и многие могилы угадывались лишь заросшими густой травой холмиками...

Мишка терпеливо бродил за дедом по печальному месту, молча стоял у могилы. Не бросал их и Куликов.

— На обратном пути задержимся у тебя, если можно? Надо могилу обиходить... — спросил Игнатьев у Куликова.

— Конечно, чего... Так поплывёте всё-таки на Красный?

— Да, надо. Дашь лодку-то?

— Берите, чего... Там Коля Моторин вас встретит.

— Это кто? Что-то не знаю...

— Да есть такой деятель. Фермер, — усмехнулся Куликов. — Ну, пойдёмте, лодку покажу...

Лодка — лёгкая дюралевая моторка, но без всякого мотора — лежала на берегу вверх дном на подложенных под неё мокрых досках. Куликов в один миг перевернул её, тут же под лодкой были и вёсла, столкнул в воду:

— Залазьте! — скомандовал, не давая возможности Александру Васильевичу чем-то помочь ему. — Лезьте, лезьте, я оттолкну.

Мишка первым запрыгнул в качнувшуюся на воде “дюральку”, как называл её Куликов. За ним шагнул и дед. Сергей Куликов подал ему вёсла, дождался, пока старший Игнатьев вставит их в уключины, и безжалостно черпая короткими резиновыми сапогами воду, пошёл в реку, толкая лодку от берега на глубину.

— Спасибо, Сергей!

— Давайте! С Богом! Счастливо...

Середина реки вся ещё была затянута туманом, и, вплывая в него, дед и внук вновь услышали на оставляемом берегу звуки ударов кирпичей о дно тачки там, где совершал свой труд, непосильный, конечно же, для одного человека, бывший уголовник Сергей Куликов. А когда лодка вынырнула из тумана, дед и внук слышали уже с другого берега, Красного, новый и неожиданный для них сейчас звук — равномерное гудение мотора. Подплывая к берегу, они видели, как синий, казавшийся отсюда игрушечным трактор с подвешенной косилкой споро и ровно выстригает луг, что раскинулось от берега до леса, а справа, на взгорке, — дома деревни Ивановки и ещё какое-то сооружение — длинное, низкое, которого раньше здесь не было, напоминавшее те мёртвые фермы в Воздвиженье, и большая жердяная выгородка рядом с этим строением, в которой что-то шевелилось единой массой, и люди какие-то ходили там...

Лодка ткнулась в травянистый берег, Мишка выпрыгнул первым и, прихватив носовую цепь, держал лодку, пока дед вынимал из уключин вёсла и вылезал, едва не оступившись в воду, на берег. Вдвоём вытащили “дюральку” на половину корпуса, а цепь надёжно обмотали и даже затянули узлом на стволе растущей у воды берёзы.

— Ну, вот мы и дома, — неожиданно даже для себя сказал Александр Васильевич Игнатьев...

Оказалось, что загон — для овец, а здание — овцеферма. Рассказывал всё это им как-то торопливо, будто боясь не успеть, невысокий круглый и очень подвижный человек — Николай Иванович Моторин, как успел он уже представиться старшему Игнатьеву, а Мишке назвался “дядей Колей”, и уже чуть ли не тащил их внутрь фермы, чтобы показать ягнят. А навстречу им вышла такая же круглая женщина в туго повязанной синей косынке, длиннополым синем халате и в шлёпанцах на босу ногу, увидев гостей, приветливо заулыбалась. А из-за её спины выкатилась — не ошибёшься! — дочь своих родителей, копия отца и мамы, девчонка лет десяти с туго завязанными и торчащими в стороны косичками и пронзительно голубыми глазами.

— Мой главный зоотехник, а по совместительству — жена, Ольга Ивановна. А это Маринка — родная кровинка. Покажи-ка, Маринка, молодому человеку ягнят-то, поди-ка, и не видывал...

— Пойдём, — просто сказала девочка. И Мишка пошёл за ней... И вскоре забыл про деда, про дяденьку, Маринкиного отца, имя которого уже не помнил, и про её маму, про всё... Гладил эти пуховые, на тонких ножках комочки, опасливо касался тёплого меха овечьих мам, недоверчиво косивших на него выпуклыми коричневыми глазами...

— Это Миля, это Зорька, это Лиза, — говорила девочка.

— Романовская порода, в Ярославской области покупал. Красавицы, да? — рассказывал и немножко хвастал Николай Моторин, показывая свою ферму Александру Васильевичу. Урюмый мужик в клетчатой рубашке и кепке, не обращая внимания ни на своего начальника, ни на гостей, выгребал совковой лопатой из пустого загончика помёт и укладывал на тачку, такую же, на какой вывозил мусор из храма Сергей Куликов.

— Спасибо, надо нам к дому, — сумел, наконец, вставить слово Игнатьев. — Думаю, ещё встретимся, поговорим.

— Конечно, вечером в гости ждём.

— Мишка, пойдём, — позвал дед.

Мишка очнулся от этого оклика, взглянул на девочку и сказал ей:

— Меня Мишка зовут.

— А меня Марина. Приходи ещё. Я тебе котят покажу. И у нас ещё кролики есть.

— Ага. — Мишка кивнул и пошёл к деду.

5

Это был выстрел. И ещё один... В тишине вечера выстрелы были оглушительны. Хотя и не рядом, где-то у моторинской фермы, — так Александр Васильевич определил.

— Дед, это чего? — Мишка спросил.

— Не знаю, — стараясь не показывать волнения, чтобы не напугать внука, отвечал старший Игнатъев. Они сидели на крыльце родового дома.

Александр Васильевич поднялся, подошел к косо висящей на петлях калитке, глянул вдоль улицы. Увидел идущего к их дому Моторина. В руках у него было охотничье ружьё. Шёл он спокойно, держа ружьё стволами к земле.

— Напугал вас, поди-ка? — издали ещё сказал. — Всё нормально. Лиса, паразитка, повадилась кур таскать, спасу нет. И собака-то никак упредить её не может. Надо хорошую охотничью заводить... Ну, как устроились?

— Устроились... Родной всё же дом. Проходите.

— Давайте уж вы к нам, хозяйка наготовила.

Александр Васильевичу не хотелось сейчас никуда идти, он только-только вроде бы заново привыкал к родному дому — уж очень давно здесь не бывал-то... Мишка тоже ещё не весь дом облазил с его печью, повестью, чердаком, двором... Но и отказывать было неудобно. Пошли к Моториным.

Мишка, выпив кружку парного, только из-под коровы молока, ускользнул на пару с Маринкой за порог избы — много чего ещё интересного, кроме ягнят, оказалось в моторинском хозяйстве: котятка, корова, телёнок, куры, кролики, два трактора, комбайн... Всё посмотреть хотелось. Да к тому же и не запрещалось... Хозяйка то присаживалась к столу, вставляла слово в разговор, выпивая чашку чая, то снова уходила в кухню, гремела посудой, или на двор, к скотине... Мужчины, распечатав бутылочку, под хорошую закуску неспешно разговаривали. Александр Васильевичу так хорошо стало, как давно уже не бывало...

— Зерновые-то как нынче? — вопрос Моторину задал, видя, что тому нравится про своё хозяйство рассказывать.

— Остатки подбираем ещё. Скоро закончим. Пятьсот гектаров в этом году сеяли ячменя...

— У-у, много... — Игнатъев покивал. А Моторин от видимого интереса ещё больше оживился...

— Есть ещё пилорама, у нас ведь много строительства...

— А какое строительство-то?

— Ну, нынче, худо-бедно, два сарая справили. Не мало ведь на них надо. Так?

— Так, — только и оставалось Александру Васильевичу согласиться.

— Овцы у меня, романовские, — продолжал рассказывать Моторин.

— Много овец-то? — опять спросил Игнатъев, и опять понимал, что делает этим вопросом хозяину приятное, и ему именно и хотелось, чтобы хозяину было приятно, потому что и самому сейчас было хорошо...

— Сто восемьдесят голов.

— Да, работать вам приходится без выходных и отпусков, да и не по восемь часов, — посочувствовал Игнатъев.

— Зато сам себе хозяин.

— А насколько ты, хозяин, независим в своей деятельности? — решил всё же умерить его пыл Александр Васильевич.

— А в чём я могу быть зависим? — Он вроде как даже обиделся на такой вопрос Игнатъева. И Александр Васильевич чувствовал эту обиду. Но он

также чувствовал, что эта обида наиграна. — Крестьянин я, крестьянин! И хочу доказать всем, что могу своим крестьянским умом жить, и жить неплохо, и другим давать! Вот так...

— И много людей у тебя работает? — Игнатъев спросил не о том, о чём думал.

— Восемь человек, — с гордостью ответил Моторин. — Четыре механизатора, один на сушилке, на овцеферме работники...

— А откуда работники-то?

— Двое из Болотово...

— Там разве ещё живут? — удивился Игнатъев. Моторин назвал лесную деревеньку в глубине Красного Берега, которая захирела, кажется, уж совсем давно.

— Одна семья там оставалась, так и живут, да ещё мужик из города лет пять назад переехал... Ну, вот... Из Жукова даже есть мужики, из Лыкова, из Меленки... Я плачу нормально, как поработаем — так и заработаем, так что... — Николай Моторин опять наполнил стопки. Выпили.

— А сам-то ты откуда, Николай? Не местный ведь?

— Не местный, но тоже деревенский, — он назвал недалёкое от города село. — А жена-то отсюда у меня. Ивановская. Ольга-то моя, Ивановна. Так что места эти я знал, бывал тут... Когда колхоз-то обанкротили, в котором я председателем был, стыдно мне там было оставаться, хоть и не было моей вины, — сказал вдруг Моторин. А Игнатъев, поспешно кивнул, махнул рукой, будто откидывая что-то, и спросил про другое:

— Подожди-ка, так Ольга-то твоя, чья она есть-то?

— Васильева. Иван Андреич — тесть мой.

— Так я ж с Иваном-то вместе учился в школе! Зови Ольгу-то, чего она...

Моторин позвал жену.

— Посиди, Ольга Ивановна, с нами. С отцом-то твоим мы друзьями были.

— Помянем Ивана Андреича, — сказал Моторин поднявшись. Помянули. Лет уж пятнадцать, как лежал он на Воздвиженском погосте.

— И сколько вы уже здесь? — снова спросил Игнатъев.

— Да третий год идёт.

— Ну, и какие планы — развиваться, увеличивать производство или стабилизироваться на достигнутом уровне? — не отставал Игнатъев (он уже прилично опьянел).

Моторин вновь охотно пустился в рассуждения о своём хозяйстве... Ольга, воспользовавшись тем, что мужчины опять разговорились, выскользнула из-за стола. Быстренько унесла бутылку из шкафчика в сених на поветь. Муж если и вспомнит — так она знает, что ему ответить, чтобы успокоился...

— Ну, и давай, Александр Василич, за нас с тобой, за крестьян! — сказал Моторин.

— Да какой я крестьянин, что ты...

— Ну, тогда — за наши крестьянские корни.

И они выпили.

— А ты кто есть-то, Василич? Кем, то есть, работаешь? — опомнился вдруг Моторин.

— Теперь уж пенсионер. А работал преподавателем в институте, историк.

— Профессор, наверное? — уважительно спросил Николай.

— Профессор, — кивнул Игнатъев. — А дети-то у нас где, слушай? Куда это Мишка-то умотал?

— С моей Маринкой не пропадёт... Пошли, Василич, на крылечке покурим...

Марина показала Мишке ещё раз ягнят, показала котят и крольчат... Одно крольчонка Маринка достала из клетки, из-под маминого бока взяла, и крольчиха тревожно приподнялась, носом в сетку уткнулась, и оставшиеся крольчата, почувствовав её беспокойство, запищали. Мишка недолго боязливо подержал крольчонка на руках, погладил его мягкие прижатые

к спинке уши и вернул Маринке, а та вернула крольчонка маме... В большом сарае, где лежало скрученное в рулоны сено, посмотрели цыплят...

— Это сюда лиса-то бегаёт? — спросил Мишка, вспомнив, что говорил Маринкин отец.

— Ага, уже трёх утащила, жалко... А курицу только покусала, не смогла утащить...

— А я в Москве тапиров видел, — решил и Мишка похвастаться.

— Каких ещё тапиров? — не поняла девочка.

— Ну, они такие... на поросят похожи, только носы длинные. Они — предки слонов...

— Нет таких животных, — прервала его рассказ Марина.

— Есть! — обиделся Мишка. — Они такие... смешные... — он совсем сбился и сердито насупился.

— И чего это предки слонов в Москве делают? — хитро усмехнулась Маринка, будто и не заметив его обиду.

— Они же в зоопарке живут! Там, знаешь, какой зоопарк!..

— Маришка, сходили бы кролям травы нарвали, — окликнула девочку мать, задававшая корм овцам (ей помогала ещё какая-то женщина), и тем прервала разговор, уже чуть ли не переходивший в ссору.

— Пошли? — спросила Марина.

— Пошли!

Во дворе возились с трактором двое мужчин.

— Серёга, ключ на двенадцать дай!.. — слышалось с их стороны. — Да на двенадцать я сказал... — и дальше матюгами.

Мишке стало стыдно, а Марина будто и не слышала ничего.

Они взяли две большие плетённые из ивы корзины и пошли со двора.

— Вон туда пойдём, — указала Марина на полуразваленный дом. — Там одуванчики растут, кроли их любят... — И добавила тихо, как тайну: — Я тебе ещё что-то покажу...

Дошли до того дома, стали траву рвать, тут, и правда, на бывших грядках было много одуванчиков. Солнце уже склонялось над лесом. И одуванчики закрывались, прятали свои солнышки.

— Пошли, пока не стемнело... — Девчонка взяла Мишку за руку, нетерпеливо дёрнула... А его как обожгло её прикосновение. — Да оставь тут корзину-то, — тянула за руку Маринка... Они подошли к кривому, опасному крыльцу дома, но подниматься по нему не стали. Маринка нырнула в дыру под крыльцом, и Мишка за ней полез. Сначала было совсем темно, и Мишка двигался полусогнувшись (раз попробовал выпрямиться, да стукнулся головой), только на звук Маринкиных шагов и шорох её платья. Но быстро выбрались в какое-то обширное помещение с оконцем, и розовое солнце как раз в него вливалось, давало полумрак... Вдруг какая-то тёмная молния метнулась из угла к чёрной дыре под брёвнами стены.

— Не бойсь, — покровительственно сказала Маринка. — Сейчас увидишь, — добавила она. А из того угла, откуда только что вылетела “молния”, доносился какой-то писк и возня. Подошли. И Мишка разглядел четырёх, с торчащими треугольно ушками, с острыми мордочками лисят, копошащихся в каком-то подобии гнезда. Мишка потянул руку к одному из них, но лисёнок вмиг ощерился острыми зубками, зашипел.

— Не трогай, цапнет. Меня кусали... — сказала Маринка.

— Классно, здорово... — не слушая её, проговорил Мишка.

— Ну, пошли! — и девочка первая пошла к тому ходу, через который проникли в погреб дома, Мишка за ней. Когда выбрались, предупредила:

— Только не говори никому, а то отец лису убьёт.

Мишка молча кивнул.

Быстро наполнили корзины травой, подхватили и побежали к дому — уже совсем сумеречно стало. Кончились в их краю северные белые ночи, когда ещё и не отгорит заря вечерняя, а уже подрумянятся, зарозовеют облака на востоке... Лесные чёрные сумерки быстро надвигаются на деревню, накрывают дома, реку, и двое — мальчик и девочка — бегут в безмолвии и темноте на зовущий жёлтый свет окна...

Маринкин отец и Мишкин дед сидели на крыльце. Николай Моторин курил.

— Вон, бегут, — кивнул на детей.

— Слушай, Николай, а как же у тебя дочь учится-то? — спросил Александр Васильевич.

— Да в городе она, в городе, только на каникулы с матерью сюда и приезжает... А и чёрт бы с этой школой-то! Жили бы тут всё время — сами бы выучили...

— Ну, это ты брось... — Игнатьев сказал. — Ей в обществе жить.

— Да это я так, Василич... А согласишься, не велико и счастье в нынешнем обществе жить. И тебя самого же сюда потянуло.

— Родина, — сказал Игнатьев.

— Завтра приходи, — сказала Маринка, — купаться пойдём.

— Ага, — кивнул Мишка.

— Ну, пока, — и она улыбнулась. И улыбка обожгла, как прикосновение руки. Легко подхватила обе корзины и побежала к сарайке с кроличьими клетками.

И дед с внуком тоже пошли домой...

Александр Васильевич давно не выпивал так много (хотя, помоложе-то был, так что для него была пол-литра на двоих!). Но никакой тяжести в голове и ногах не было — и шлось, и думалось на удивление легко... Но уснуть опять долго не мог. Мишка уж давно посапывал в блаженном детском сне, растянувшись на широкой лавке за печкой, а дед снова на крыльцо вышел... Запала моторинская мысль о нынешнем обществе и не отпускала. “А и хорошо бы, правда, скатать вот эту, ещё живую Русь — с этими лесами, деревеньками, полями, — как скатерть-самобранку, унести куда подальше от нынешнего мира, раскатать да и жить, как нам хочется, без оглядки на их цивилизацию... Ан нет, не получится, и там ведь не сможем, как в сказке, жить, на то она и сказка... Да и куда уносить? Вот — всё тут, бери, живи... Может, правда, совсем сюда перебраться?..”

А сон приснился, когда всё же уснул на старом диване, на удивление, до малейших подробностей чёткий. Он видел массы людей и в этих массах различал всякое лицо, он знал и понимал все происходившие в его сне события... И понимал, что это ему снится, и во сне же сам себе говорил, что, когда проснётся, надо сон записать... И был уверен, что как видит всё и понимает, так же и записать сможет... А когда очнулся — что-то, в общем, помнил, но, конечно, не так подробно и внятно, да и записывать ничего уже не хотел...

Сон

Будущее, не очень и далёкое... Все промышленные предприятия мира сосредоточены в какой-то единой зоне, на них — современнейшая техника. Они обеспечивают весь мир промтоварами, одеждой... Вторая зона — сельскохозяйственное производство и производство продуктов питания, тоже по современнейшим и постоянно совершенствующимся технологиям. Первая зона, кажется, где-то в Юго-Восточной Азии, вторая — в Африке... Работают в обеих зонах, в основном, роботы...

Остальное человечество освобождено от производства — широчайшая возможность “творческого” и “духовного” развития — и творят. (Во сне Александр Васильевич даже понимал, что слова “творческого” и “духовного” должны стоять в кавычках.) И все желающие “самовыражаются”, “духовно развиваются”, особенно в ходу всяческая эзотерика и оккультизм. Хотя большинство, конечно, выбирает “отдых” — потребление продуктов самовыражения “творческих личностей” и туризм по также строго отведённым для этого зонам.

Всякое производство, кроме как в тех специальных зонах, запрещено. Особенно — сельскохозяйственное (даже огородика никакого быть не должно).

“Национальные культуры” — в “национальных заповедниках”: русская деревня, папуасская, индейская...

В “русской” деревне девки в сарафанах да кокошниках хлебом-солью встречаются, можно и в церкву войти, свечку перед иконой поставить — желание загадать, а если под ту же икону подлезешь (она на специальном столике стоит) трижды — то уж обязательно желание исполнится. Всё это объясняет доброжелательная женщина-экскурсовод в скромном платочке. А после церкви можно и в резиденцию Деда Мороза зайти — тут он с накладной бородой и красным носом на троне своём сидит. А неподалёку — избушка Бабы Яги... Можно и в баньку с веником (для желающих — с теми же девками, что в сарафанах и с хлебом-солью встречали). А ещё и “праздник коровы” либо “праздник печки” в той же “русской” деревне устроят с частушками и дракой — веселись, народ, приобщайся к “русской культуре”...

Создана всемирная “единая церковь”, потому как различные религии — анахронизм, ведущий лишь к религиозной розни, которой не место в цивилизованном обществе.

Классическая литература вроде бы и не запрещена — просто её почти никто не читает. Вообще читают очень мало и в основном — детективы и любовные романы. И “классика” уходит из жизни “естественно” — книги не переиздают.

Живут все в высококомфортных городах, отдыхать ездят в “природные” либо “национальные” заповедники.

Постоянная забота “об экологии”. Очень сильна “зелёная партия”.

Культ “здорового образа жизни”. Все озабочены здоровым питанием, продлением жизни... Сторонники здорового образа жизни, а таких — большинство, объединяются в почти религиозные организации — со своими ритуалами, обычаями...

Преступность остаётся, в основном, бытовая или на почве “самовыражения”. Преступники изолированы, но места их изоляции — неподалёку от городов или даже в самих городах, и условия содержания — довольно лёгкие. Самым серьёзным преступлением считается нарушение “закона о производстве” — вот за него люди просто исчезают (официально — “подвергаются изменению”: с помощью химических препаратов их превращают в биороботов и увозят в одну из производственных зон, где используют на тяжёлых работах, там, где и машины не могут работать...)

Огромная часть людей работает в какой-либо охране. Охраняют всё, что возможно, — жилые дома, общественные здания, все следят за всеми... Столько охранников совсем и не нужно, но создаётся впечатление занятости серьёзным делом...

Конечно же, существует мировое правительство, существует очень узкий круг людей, манипулирующий всем остальным населением планеты, существует немногочисленная, но могущественная тайная спецслужба, осуществляющая постоянный контроль и немедленно пресекающая всякое инакомыслие...

Но осталась территория, неподвластная этому “мировому правительству” и его “мировому порядку”. И называется эта территория — Россия. Конечно, это очень небольшая часть бывшей России — то ли несколько деревень, то ли какой-то город. И живут там люди русские, хотя среди них есть представители всех рас. Живут, как хотят: пахут землю и выращивают хлеб, охотятся и ловят рыбу, рожают детей, учатся в школах, читают книги. Ходят в церковь, конечно же, православную... Каким-то образом туда, в Россию, попадают люди, “подвергшиеся принудительному изменению”, то есть вроде бы превращённые в животных-роботов, но они живут там, в России, как самые обычные люди... В Россию постоянно засылаются агенты мирового правительства, но лишь успевают передать какую-то информацию, а вскоре сами становятся русскими... Предпринимаемые мировым правительством военные акции против России не приводят ни к какому результату. Она неуловима — то объявится где-то на севере Евразии, то в Индии, то в Южной Америке... Но везде это одна и та же Россия — Русь. И жизнь-то в ней совсем не сахарная — деревенская, трудовая... И каким-то образом, без всякой внешней информации — не говорят о России ни всемирное телевидение,

ни газеты — о ней узнают и находят безошибочную дорогу к ней все “труждающиеся и обременённые”, а такие, несмотря на почти полное освобождение от всякого труда, на, казалось бы, полнейшую “свободу” и “демократию”, всегда находят. И ведь знают мировые правители (о, они умны, они многознающи!), что их мировая империя рухнет, понимают (о, они всё понимают!), что, как бы ни трудились их учёные над проблемой продления жизни, а умирать придётся... А Россия всё равно останется, а русские, кто бы ни были они по земной своей национальности, истинно бессмертны... И от этих знаний и понимания ещё больше они ненавидят Россию...

Всё это, только ещё более чётко, зримо, узнал в своём сне Александр Васильевич Игнатьев. Он будто прожил в себе жизни миллионов людей, и сам был каждым из этих миллионов. Он и проснулся с таким непонятным чувством... И увидел внука своего — Мишку: тот сидел у окошка и глядел на улицу, где начинался новый день. И в нём, в этом светловолосом мальчишке, увидел и своего отца, и деда, и сына, и будущего правнука — ту самую Россию, но не во сне, а наяву...

Послышались шаги на крыльце, и по-деревенски без стука вошла в избу Ольга Моторина:

— Здравствуйте! А давайте-ка, хозяйева, порядок-то в доме наведём! Мишка, беги-ка на пруд за водой, пол мыть будем... Беги-беги, Маринка вон ждёт тебя...

Глава пятая

1

— Полинка, иди к дяде Мише, он уж запрягает, да съездите с Санькой за вениками-то, мы дометаем...

— Хорошо, мама... — Полина скатилась с макушки стога, оправила сарафан, перевязала косынку и побежала по твёрдоутоптанной тропке к дому.

Сена оставалось на один стог, и Вера Егоровна, Васятка да нанятый в подмогу Воська-косой должны были здесь быстро управиться. Дядя Миша по сухорукости своей сеном не занимался, впрочем, и однорукый (левая висела плетью) умел делать многое и хорошо. Сейчас он выводил со двора впряжённого в телегу смиренного мерина Карько. И двоюродная сестра Полины, Александра (по-деревенски — Санька), довольная, сидела на задке телеги, свесив ноги в новых беленьких ещё лапотках...

— Прибежала, ну, и ладно, — кивнул дядя Миша. — Вот вам топор, смотрите, девки, не потеряйте. Езжайте за старую выгороду, там по праву руку берёзу-ти и рубите, да не заделявайте, смеркается быстро — и не заметите, — наставлял он дочь и племянницу, хоть и ездили они за вениками уже не первый год, всё знали...

— Ладно-ладно...

— Хорошо, божатко...

— С Богом, с Богом...

Телега запереваливалась из колеи в колею — в дождливые дни дорогу посередке деревни беспорядочно разъездили, так и засохла рытвинами. Увязалась, было, с тьяканьем за Карьком соседская собачонка (Карько шёл неторопко, обмахивая хвостом оводье да мух, не обращая на собачонку внимания), Санька замахнулась на неё вицей, и та отстала...

За деревней дорога выровнялась, телега покатилась мягко. Вскоре въехали под прикрытые леса, спрятались от палящего, хоть и клонящегося к закату солнца.

— Так отец-то пишет, что скоро вернётся? — спросила Санька.

— Да, пишет. А ты чего не приходила-то вчера?

— Скотину обряжали с мамкой. Отец-то рассказал...

Вчера Полина читала письмо отца — почти вся семья, да и кое-кто из соседей вокруг стола сидели, слушали...

— Ой, хоть бы уж и пришёл скорее. Мамка виду не кажет, а уж вся измаялась, тяжело без мужика-то... — серьёзно, по-бабьи вздохнула Полина, чем и вызвала приступ смеха у двоюродной сестры.

— А то ты знаешь, как бабе без мужика?

— А то не знаю...

— А как?

— Отстань ты! — грубовато прикрикнула Полина. Санька обиженно спрыгнула с телеги и пошла по краю дороги, обломив веточку с осинки, отмахивая комаров.

Карько ступал неспешно, покачивал в такт шагам большой головой, хлестал хвостом по крупу.

— Ой, Полинка, смотри-ка! — Санька указала вниз, на дорогу.

Полина нагнулась с телеги — на грязевой корке, оставшейся от пересохшей лужи, отпечатались следы.

— Мужик вроде шёл... Босой... — неуверенно сказала Полина.

— За грибами, что ли? — откликнулась Санька. — А чего не обутой-то? — сама себя спросила. И присела снова в телегу, дала и сестре веточку — комаров отгонять.

Карько что-то совсем уж замедился, закрутил головой. Полина легко подхлестнула его вожжами:

— Н-н-о, Карько, шевели мослами давай. Санька, погоняла бы ты с него оводов.

— Сама бы и погоняла! — откликнулась Санька, но сестру послушала, снова с телеги спрыгнула, охлестнула бока и пах мерина... Опять на дорогу глянула и опять след босого мужика увидала...

Прямо с телеги, через кусты, разглядела Полина мост красноголовиков, накрывший полянку. Карька остановили, вожжи на куст накиннули и пока все грибы в подолы не собрали — не отстали. Высыпали подосиновики в задок телеги, сами сели, надо было уже поторапливаться, в лесу заметно темнело. А Карько опять идти не хотел, норовил к дому завернуть, пришлось поостроже его на путь наставить.

Наконец, проехали и старую выгороду — участок леса, огороженный жердями, кое-где теперь уж сломанными, упавшими, в котором пасли в позапрошлом году деревенское стадо. Уже в сумерках по очереди рубили ветки на веники, наощупь определяя, что берёза банная (испод листа бархатистый). Накидав полную телегу, поехали в деревню. И чем ближе к жилью, тем Карько веселее шагал.

Ещё издали Полина увидела непривычную колготню у своего дома. “Уж не случилось ли чего?” — подумала.

И только подумала, увидели обе девки бегущего им навстречу Васятку:

— Полька, Санька! Батька пришёл!..

...Утром мать, помолодевшая, неожиданно красивая, в горенку к Полине заглянула.

— Полька! Спишь?.. Осины-ти могли бы и за огородом наломать!

А из избы слышался непривычный, громкий смех отца и божатки. Вчера долго смеялись над “босым мужиком” — медведем, прошедшим впереди девок по дороге, а с утра кто-то, видно, разглядел и наломанные девками веники...

Солнце широко вливалось в избу. Два брата Игнатьевы — Семён и Михаил — сидят за столом, между ними — початая корчага браги, хозяйка орудует у шестка ухватом, Васька, просидевший вчера со взрослыми до полуночи, спит на полатах без задних ног, Полина одевается, стыдясь того, что проспала, не помогла матери хотя бы выгнать утром скотину...

И верится всем в семье Игнатьевых, что начинается с этого дня новая, другая, обязательно счастливая жизнь.

2

Не думал Иван Сергеевич, что доведётся ещё в эти места вернуться. Однако же партия сказала — поехал. Секретарём уездкома... Городок знакомый ему — поначалу здесь ссылку отбывал, пока не уехал ещё дальше,

на Красный Берег... На вокзале чувствовалась какая-то напряжённость — вооружённые красноармейцы группами сидели вокруг костров. Поздняков прошёл в знакомое деревянное здание вокзала, навстречу ему шёл коренастый с подкрученными усами (в отличие от Ивана Сергеевича, у которого усы висели по-сомовьи) человек в чёрной потёртой кожанке, в кожаной же фуражке со звёздочкой над козырьком, перепоясанный португесей, в кавалеристских галифе, в сапогах, с кобурой на боку.

— Товарищ Поздняков? Здравия желаю! Командир гарнизона Саблер! — представился человек.

— Что происходит, товарищ Саблер?

— В Воздвиженской волости кулацкое восстание, захвачено село Возвиженье. До трёхсот вооружённых бандитов. Убиты бойцы продотряда...

Постепенно вырисовывалась картина этого восстания. Докладывал председатель местной “чрезвычайки” Аксютюц (между прочим, старый знакомый из ссыльных, но сейчас не до воспоминаний было): “Поступили сведения о совершившихся и предотвращённых восстаниях под руководством левых эсеров ещё в ряде городов и уездов Поволжья и по всему Северному краю... Инициаторами Воздвиженского восстания, как ни странно, стали недавно демобилизовавшиеся красноармейцы. Хотя это и понятно: в армейских рядах эсеровские агитаторы работали особенно активно... Поводом же к восстанию стал рейд продотряда. В Жукове они излишки хлеба изъяли, а на пути в Возвиженье продотрядовцы были захвачены местными мужиками во главе с Яковом Поповым, две недели назад вернувшимся домой по ранению...”

...Аксютюц говорил неторопливо, несколько театрально... И Поздняков невольно всё же вспомнил, что Аксютюц этот и правда организовал в городе театральный кружок из ссыльных, собиравшихся чаще всего у него на квартире и, с разрешения полиции, устраивал спектакли: летом — в городском саду, а зимами — в “народном доме”, который был в шестнадцатом году разгромлен местными членами Союза русского народа как “гнездо социализма”... “Театральный кружок” был, конечно же, и политическим клубом: читали и обсуждали новинки политической литературы, статьи из “Правды”, не забывали и “художественное”: Блок, Б. Ропшин, Горький... Выпивали, ссорились, отбивали друг у друга жён и партийных подруг... Поздняков (в то время, конечно, Потапенко) один раз был в этом “театральном кружке” и стал свидетелем того, как осталась у Аксютюца девица, считавшаяся невестой молодого меньшевика. Рассказывали, что ночью тот вернулся, стучал в двери и попытался поджечь дом, но был схвачен хозяином (Аксютюц снимал квартиру в большом двухэтажном доме), избит и сдан в полицию... И случай тот был не единственным: пьянство, “свободная любовь”, махинации с партийными кассами и доносы процветали в среде ссыльных. Для Ивана Потапенко такие нравы в среде революционеров были внове. Он привык работать среди простых заводских людей, партийную учёбу проходил на курсах в Финляндии и в самом Питере, где партийные руководители казались ему чистыми, как небожители... Он сам тогда явился в жандармское управление и попросил отправить его на жительство в деревню. Тогда-то и познакомился он с Иваном Алексеевичем Сажиным, помощником начальника уездного управления. Тот необычную просьбу ссыльного уважил, и вскоре Иван Потапенко был отправлен на Красный Берег...

Поздняков отогнал ненужные сейчас воспоминания и продолжал слушать доклад Аксютюца.

“...Лишь одному из бойцов продотряда удалось бежать, остальные в ходе завязавшейся перестрелки были убиты. После чего бандиты обосновались в Возвиженьи и ведут агитацию против Советской власти в окрестных деревнях. Есть сведения, что, собрав достаточное количество людей, они попытаются продвинуться к ближайшей железнодорожной станции — это пятьдесят вёрст от Возвиженья — и захватить её. Полагаю, что Воздвиженский мятеж — звено в единой цепи эсеровского заговора”.

“Ишь, как шарит, — артист”, — внутренне усмехнулся Поздняков. А вслух спросил:

— Есть сведения, как развиваются события в других местах?

— В Ярославле — бои, в Вологде раскрыт и уничтожен эсеровский заговор... В нашем уезде сейчас идут аресты всех известных нам эсеров с целью предотвращения... — ответил Аксютин.

— Наши силы? — обратился Поздняков к Саблеру.

— Кавалерийский полк в полном составе сосредоточен сейчас здесь, на вокзале. Сформирован отряд из рабочих-добровольцев...

Поздняков вышел на перрон, чтобы покурить на улице, — в вокзальной комнате, где находился штаб по борьбе с мятежом, от дыма уже было не продохнуть.

Небо на востоке розовело. Состав, стоявший у перрона, отделял всё, что по другую сторону от него, будто стена, за которой ничего нет, будто по этому составу проходит граница видимого мира. У костров — люди и тени. Порывы ветра швыряют в лицо морось. И эти костры, тени, этот ветер и даже этот состав-стена вдруг напомнили Ивану Позднякову что-то из того времени, когда был он фабричным мальчишкой Ванькой Потапенко, и в бараке, где жили тогда с матерью, отцом и двумя сёстрами, за тонкой перегородкой сосед-старик бубнил-читал что-то, и тоже там, в читаемой стариком книге, были костёр, и тени, и, кажется, мокрый ветер... И охватило вдруг чувство восторга и страха одновременно, как и тогда от тех непонятных слов... Он подошёл к огню. Красноармейцы с багровыми от огня лицами курили, пили чай, что-то хлебали из котелков... Один, поняв в Позднякове начальника, спросил:

— Когда отправляемся, товарищ командир?

— Скоро, — коротко ответил Иван Сергеевич, бросил в огонь пустой мундштук выкуренной папиросы и ушел в вокзал...

К утру был выработан план: небольшой отряд красноармейцев, усиленный пулемётами, отправляется по железной дороге на станцию, чтобы предотвратить попытку её захвата. Остальные силы — спешенные кавалеристы, рабочий отряд, усиленный чекистами, два артиллерийских орудия — двумя пароходами движутся по реке к Воздвиженью и Красному Берегу, занимают Ивановку, чтобы не дать бандитам уйти на Красный Берег, окружают, атакуют и уничтожают бандитов в Воздвиженьи. По завершении боевой фазы операции специальные чекистские отряды проводят рейд по округе с целью ареста укрывшихся бандитов и их пособников.

— Всё, товарищи, решение принято. Действуем. Командира рабочих-добровольцев срочно ко мне! — уже командовал Поздняков. Саблер и Аксютин безоговорочно приняли его руководство.

3

Михаил Игнатъев ввалился в братову избу:

— Здорово ночевали!

За ним вошёл и ещё мужичок в длинной солдатской неподпоясанной шинели, в солдатской же фуражке, родом из Жукова:

— Здравствуйте.

— Здорово, здорово, заходите, садитесь, — Семён Игнатъев поднялся им навстречу от стола, на который Вера Егоровна только-только выставила самовар — семья уже позавтракала.

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйте... Васька, иди-ка Полинке помоги, — вымела из-за стола парня.

Гости сели за стол. Хозяйка выставила ещё две чашки и тоже вышла из избы.

Семён неторопливо налил себе чаю:

— Давайте, сами наливайте... Ну, чего пожаловали-то?

— Слышал, Семён, чего на том берегу-то делается? — без обиняков начал Михаил.

— Ну?

— Вот — человек оттуда. От Попова.

— Протрядовцы хлеб подчистую выметают, обрекая людей на голодную смерть! Вся Россия, вся мужицкая рать поднялась на большевиков

и жидов. Вологда, Ярославль, Кострома — уже наши, в Москве бои... И наш уезд в стороне не остался — формируется крестьянская освободительная армия под командованием товарища Попова...

— Складно баишем, где научился-то? — с усмешкой оборвал его Семён. — Ты ж наш вроде, жуковский?

— Лебедев я, Сергей...

— Думай, Семён, за тобой мужики пойдут, — вмешался снова Михаил.

— Пойдут, говоришь... А ты знаешь, Миха, какая сейчас у большевиков сила? С чем и против кого пойдут мужики? Много ли их с германской-то вернулось? Ты понимаешь, — уже к Лебедеву он обернулся, — что вы людей на смерть зовёте? И кто вы? Эсеры? Да? А пришли бы вы к власти, где бы хлеб брали?.. Нет, Миха. Эта власть — всерьёз и надолго. Эта власть дала нам землю, и если нужно с городом хлебом поделиться — будем делиться. Не знаю, как другие, а я к Попову не пойду и другим не велю.

— Жаль, ошибочка вышла, — сказал Лебедев, поднимаясь из-за стола. Встал и Михаил.

— Ты с ним, что ли? — Семён спросил.

— Нет, домой я.

И Семён встал, и вслед выходявшему Лебедеву крикнул:

— Узнаю, что мужиков баламутишь, — утоплю!

Весь следующий день Семён Игнатьев, чем бы ни занимался (осматривал и готовил к пахоте плуг, чинил упряжь), думал о том, что происходит там, в Воздвиженьи и во всей волости...

Не выдержал, пошёл к Михаилу. Тот ловко, одной рукой, второй, нерабочей, лишь придерживая, тесал во дворе какую-то лесину. На Семёна, хотя уже увидел его, сперва не оборачивался. Махом всадил топор в чурбак, выпрямился и лишь тогда резко, всем телом повернулся к брату:

— Что скажешь?

— Скажу, что ты не дури, не слушай этих...

— Но я же здесь, не ушёл... Но я не понимаю! Завтра к нам продотряд придёт, выгребут всё, даже на сев не оставят, как в Жукове сделали, и как дальше?

— Всё не выгребут, — твёрдо ответил Семён. — Это тоже... знаешь... агитация... Всё не выгребут, не дураки же...

Михаил Игнатьев почувал неуверенность в словах брата, и усмешка в обросшем усами и бородой рту скривилась. И эта усмешка сразу придавала твёрдости Семёну:

— Это наша власть, Миха! Время такое, надо самим потерпеть, а накормить рабочего и солдата.

— А рабочий мне гвоздь задаром даст, плуг даст?

— Они нам мир дали, землю дали. На земле не пропадём!

— А что, Семён, — уже спокойнее, без злости и усмешки спросил Михаил, — что, если мужиков в кооперацию собрать, а? Как думаешь, позволит советская власть? Миром-то, сообща-то сподручнее в такое сложное время держаться...

— Вот ты уже и думаешь, Миха. Это уже хорошо. Я так думаю, что позволит. Главное сейчас — удержать мужиков, не отпустить на тот берег...

...Трое мужиков из Ивановки в тот день всё же ушли в "армию" Попова. К вечеру собрался на воздвиженский берег и Семён Игнатьев. Жене сказал:

— Утром вернусь. Не говори никому.

— Да куда ты, Семён? — вскинулась испуганно Вера Егоровна.

— Надо... Не бойся, я только переговорю с Яшей.

— Пап, ты куда? — спросил четырнадцатилетний сын Василий.

— На кудькину гору! Дрова неси, печь топите. К утру чтоб пироги были! — вроде шутливо, но и строго наказал отец.

— Какие пироги? — растерянно жена спросила.

— Какие хочешь, но чтоб были! Васька, гляди у меня! — и Семён Игнатьев шагнул за порог.

Вера Егоровна посмотрела в окно вслед мужу, убедилась, что он к реке пошёл... Обидно крикнула сыну:

— Чего встал, полоротый, иди за дровами! Польша — за мукой!..

...Семён переплыл на лодке реку. Никто не остановил его на Воздвиженском берегу, и он поднялся по крутому берегу в село. У входа в бывший трактир на телеге, рылом в сторону реки, стоял пулемёт с заправленной лентой. Мужик в шинели сидел тут же и чистил вицей с намотанной на конце тряпкой ствол винтовки. Ещё двое на крыльце — тоже в солдатской форме, причём заметно, что новой, не обмятой.

И здесь никто его не останавливал, ни о чём не спрашивал. Он сам спросил:

— Здесь Попов-то?

— Здеся, — лениво ответил один из мужиков.

А второй вдруг показал из кармана шинели бутылочное горло:

— Будешь? — И Семён вдруг понял, что оба в стельку пьяны.

Он не ответил, вошёл в здание...

...Вчера днём к Воздвиженскому храму подъехала кавалькада из трёх телег.

Отец Николай только что закончил утреннюю службу. Людей в тот день в храме было совсем немного, и после службы храм быстро опустел. Отец Николай встал на колени для молитвы перед любимой иконой.

Бесцеремонно ввалились люди, отец Николай успел заметить, что не все и перекрестились-то на входе. Поднялся им навстречу.

— Что угодно?

Человек в ладно сидевшей на нём перехваченной португесей форме, с рябым широкоскулым лицом и тяжёлым льдистым взглядом сказал коротко:

— Переговорить бы, отец.

За ним стояли люди и в военной форме, и в гражданской одежде. У одного даже винтовка за спиной...

— С оружием в храм нельзя... — стараясь говорить спокойно, сказал отец Николай.

— Вышли все! — едва разжимая губы, проговорил Попов. Это был он — “командующий крестьянской армией”.

Все вышли, громко топая сапогами, недовольно переговариваясь.

— А ты хоть знаешь, отец, кто я, и почему мы с оружием?

— Я слышал про вас, — отвечал священник.

— Батюшка, ты же всегда за народ, за крестьян... Благослови на борьбу с большевиками! — громким шёпотом выкрикнул Попов. И добавил: — Прордыху же мужику нет.

Отец Николай помолчал, опустил глаза в пол... А подняв глаза и глядя прямо в жёсткие глаза Якова Попова, ответил:

— Я не благословляю вас на братоубийство.

Теперь Попов в пол глаза упёр, он будто сдерживал себя от какого-то яростного шага. Желваки вздулись. Потом тяжело вздохнул. Глаза их опять встретились.

— Я исповедаться хочу.

— Хорошо...

...И вот Семён Игнатьев вошёл в просторную комнату, где раньше пили и гуляли, а сейчас расположился Попов со своим штабом.

— Здравствуй, Яков Петрович.

— И ты здравствуй, Семён Василич, — Попов шагнул навстречу Игнатьеву, и они обнялись.

— Ты почто и на что мужиков баламутишь, Яков? Знаю: тебе и своя шейка — копейка, да и чужая алтын... Но здесь не война. Хватит, навоевались. На гибель ведь зовёшь мужиков. На что ты надеешься? Не одолеть вам эту власть...

— Это ещё посмотрим...

Попов выставил всех из комнаты. Сидели двое, разделённые столом, на котором четверть самогона, стакан тонкого стекла, пара чашек, из которых тоже пили самогон, чугунок, приспособленный под окурки...

— Ну, а что вы-то, эсеры, — ты ведь эсер? — мужику дадите, если, допустим, к власти придёте? Землю? — так её и большевики дали. Хлеб они

забирают — так это я понимаю, и нашим мужикам, красноречивым, объясню: хлеб сейчас не просто продукт, это вопрос власти. Дадут большевики хлеб в города и в армию — устоит Советская власть...

— Ты меня-то, Семён, не агитируй, наслушался я всяких... Плевать мне — большевики, эсеры, мне обидно! Понимаешь ты, — Попов крепко пристукнул по столешнице, — обидно, что ведь угробят они мужика-то, не пожалеют, мужик для них — навоз! А эсеры — они хоть провозглашают, де-кла-ри-ру-ют, что мужик, крестьянин — первый человек на земле, а не пролетарий какой-то, нагляделся я на этих пролетариев...

— Но ведь раздавят вас! Что ты сделаешь с двумя пулемётами? Ведь с каждого, кого ты поднял за собой, с каждого спряят. Помирал бы тогда уж сам, один! — жёстко сказал Семён Игнатьев.

— А! Так ты! — глаза Попова пьяно соловели, наливались бешеной злобой. — А сам не хочешь подохнуть?! — К кобуре потянулся.

— Ну, убей меня. Мало крови-то пролил...

Попов не расстегнул кобур, клешней ладонью схватил стакан, сжал — треск, осколки, кровь на стекле и на столешнице...

А утром, шлёпа плицами колеса по воде, выпуская из труб клубы дыма, подошли к Воздвиженскому берегу два парохода...

— Вот и всё, Миха, полетят клочки от армии Яши Попова, — сказал Семён Игнатьев брату, с которым, как почти все жители Ивановки, стоял на берегу, обозревая невиданные в этих местах пароходы, весть о прибытии которых разнесли по деревне вездесущие мальчишки. А с пароходов на берег деловито прыгивали вооружённые люди, поднимались к церкви и в село. Грохнул, будто шаром по воде прокатился, близкий выстрел, и всё стихло. К Красному Берегу плыли две лодки, и чем ближе они подплывали, тем меньше людей оставалось на берегу. И шагнул навстречу приплывшим чекистам уже один Семён Игнатьев...

...Полина видела, как уплывал на тот берег в утреннем тумане Колька Якуничев ещё с двумя мужиками, стараясь потише спустить лодку на воду... Днём уже вся Ивановка говорила об армии Яши Попова. А ещё через день приплыли на Красный Берег чекисты, а по Воздвиженью ударили пушки и пулемёты...

Казалось ей, что сердце разорвётся, ни о чём не думалось, кроме как о Коленке, который там, где сейчас рвутся снаряды.

Со двора улизнула к реке, отвязала свою, игнатьевскую, лодку, на которой вчера отец на тот берег плывал. Воздвиженьё окрайком обошла, бежала туда, где уже за селом после затишья вновь послышалась стрельба. Быстрый-быстрый стрекот — “Наверно, пулемёт”, — подумала, знала о такой штуке из отцовских рассказов. Ружейные выстрелы. Потом опять грохот. “Из пушки палат”, — поняла.

Выскочила туда, где за селом полуразваленная зувская ферма. Размётанные дымящиеся брёвна... А вокруг — люди, люди лежат, стонущие, ползущие к лесу и неподвижные, мёртвые.

Остатки “армии” Якова Попова, отстреливаясь, отходили к ближнему лесу, но и оттуда, сбивая людей, полетели пули.

Полина бежала туда, где за какими-то заборами, полуразваленными сараями ещё отсиживались повстанцы. Она бежала туда, и казалось ей, что видит Николая своего. Вон он лежит раненый. Сейчас она добежит и спасёт его... И опять стихло всё — ни выстрела. Только прошипело вдруг что-то над головой, и стена земли встала перед глазами девушки...

Она открыла глаза — человек в кожаной куртке, в кожаной фуражке со звездой склонился над ней, открывал рот, но почему-то не было слышно его голоса.

К вечеру приплыл в село отец Полины — кто-то из деревенских видел, как уплывала она на Воздвиженский берег. Почерневший от горя, кричал что-то ей, а она, лежавшая прямо на траве, на подстеленной кем-то шинели, только мотала головой из стороны в сторону.

...Вроде бы и пришла со временем в себя Полина, только онемела и не слышала ничего. Колька Якуничев, как и большинство повстанцев, был

убит. Немногих из оставшихся в живых дня три ловили по окрестным деревням. Пойманных отвезли в город, судьба их дальнейшая неизвестна.

Яков Попов до последнего отстреливался из винтовки, из нагана, бросил даже гранату в набегавших солдат. Последнюю пулю в себя пустил, живым не дался.

В тот же вечер уехал нарочный от Позднякова в “губернию” с подробным отчётом о подавлении в Воздвиженской волости кулацкого восстания.

В Воздвиженье и на Красный Берег уже полноправно, неизбежно пришла новая, советская власть.

Тень филина

...И когда в чёрном небе засияла холодно-жёлтая колючая звезда, и стал виден вечный ход вокруг неё созвездий и галактик, когда хладный свет достиг угора и камня на нём, филин раскрыл глаза, бесшумно и сильно расправил крылья и сорвался с кроны сосны. Сделав один мах, он проплыл над поляной. Ещё взмах — и он выше, выше...

Ничто не скрыто от его взора: сонно застывшие в болотных кустах лоси: ширококорогий горбатый сохач, покорная, схожая с коровой лосиха, хрупкий лосёнок... Собака, калачом свернувшаяся на крыльце дома... Лиса, несущая в зубах цыплёнка к заброшенной избе, где в погребке, в тёплой мгле — гнездо с лисятами... Лодка, качающаяся на воде звёзды... Белоголовый волхв с посохом в руке, стоящий у Марьиного камня... Тихие могильные холмики... Церковные кресты... Уставший за день, со всё ещё не остывшим мотором, трактор на дворе механизатора... Мышь, замершая в глубине своей норы... Ёж с наколотым на спину жёлтым яблоком, бегущий по своей тропе... Девушка за окном горенки, жарко разметающаяся на постели... Бабочка, сложившая крылышки на спящем цветке...

Каждым пером он чувствует плоть воздуха и, чуть шевельнув хвостом, закладывает круг. И во все стороны — леса, прорезанные реками; крыши деревень; огни посёлков и городов; костры рыбаков и волхвов...

Это не воздух, не ветер — сама вечность несёт вещую птицу над миром...

И когда из-за облака вышла луна, тень филина поплыла по земле, бесплотно касаясь живого и мёртвого, святого и грешного, всё обволакивая, оглаживая и умягчая сонным туманом...

Глава шестая

1

В то лето вернулся Костя Куликов в Воздвиженье из города, куда отправлял его отец к какому-то дальнему родственнику для обучения сапожному ремеслу.

Ремесленная наука впрок парню не пошла, а вот на курсы политграмоты записался, а вскоре и в комсомол вступил. И в село родное вроде бы и не как изгнанный за лень и неспособность к учению возвращался, а с поручением создать комсомольскую ячейку. Предполагалось, конечно, что Костя её и возглавит, но тут его быстро поставил на место (был Костя, все знали-помнили, парнишка довольно непутёвый) сын местного коммуниста Савелия Козырева — Серёга. Впрочем, Козырев Костю (по-деревенски “Коську”) сделал как бы своим заместителем, а всех приятелей своих в комсомол “записал”.

Вскоре решили воздвиженские комсомольцы и Красный Берег своей работой охватить, стали в Ивановку наведываться, молодёжь агитировать. Сначала повесили объявление на конторе коммуны с приглашением молодёжи на “комсомольскую маёвку”.

Пришли ивановские ребята вечером на берег, на маёвку — с батогами.

— Ну, чё, помаёвничаем? — спросил воздвиженских агитаторов ивановский “атаман” Лёха Могуничев. И быть бы комсомольцам битыми, если бы не вступился за них тогда Василий Игнатъев. Интересно стало ему, как это давно знакомые воздвиженские парни стали вдруг какими-то комсомольцами, а они, ивановские, что, хуже? Да у него, Василия, отца недавно в партию приняли!

Так и стали собираться на “маёвки” (хотя дело было уже в июле-августе) на берегу реки, у костра.

Обычно начиналось всё с того, что Костя читал последнюю привезённую со станции газету, рассказывал что-нибудь из того, что помнил с курсов поллитрамоты. Потом пели даже “Интернационал” и другие революционные песни, которые знали.

Их за эти “маёвки” и поругивали, конечно, время-то сенокосное, да и мало ли дела летом в деревне... Впрочем, собирались “комсомольцы” не чаще раза в неделю, в остальные же дни были они обычными деревенскими парнями и девушками и жили обычной им с рождения жизнью.

...Был день в середине августа, который называли в Ивановке и округе “Марьин день”. В этот день собирали всегда на угоре у камня “канун”, жгли костры, пели песни, трапезничали...

Впрочем, давно уже только девки в тот день к камню бегали, хоровод водили, ну, за ними, конечно, и парни...

Вот и в тот август на Марьин день собрались девки на “канун”, с ними и малышня деревенская увязалась.

У комсомольцев же своё собрание.

— А чё, парни, пошли девок-то погоняем. Канун же сёдня, Марьин день... — сказал кто-то.

Костя Куликов и уцепился:

— Если мы, товарищи, боремся с религиозными предрассудками, то и с этим Марьиным днём должны бороться! Праздники у нас свои — большевистские!

— Верно! — откликнулся Серёга Козырев. — Айда, товарищи комсомольцы!

— Куда, на канун что ли?..

— Камень скидывать! Под корень дурман религиозный! — Серёга уже тоже от Коськи словечек умных поднахватался.

И человек пятнадцать воздвиженских и ивановских комсомольцев сорвались и весело побежали к угору.

Козырев ещё местных по домам направил — за топорами. Парень он был смекалистый. Те мигом слетали. Правда, с топорами лишь двое вернулись, ещё у троих старшие дома были, не разрешили топоры взять.

Поднимаясь к макушке угора, вырубил рычаги и слегли...

Когда девушки к камню поднялись, там уж вовсю работа шла...

И будто охнула земля, освобождённая от вековой тяжести, но не радостный был тот вздох и не все его услышали...

— Чего делаете-то, ироды! Где же нам теперь гадать-то?! — первой заголосила на парней Санька Игнатъева, самая бойкая из девчат.

Камень застыл, приподнятый рычагами...

— Ещё подадим!.. Девки, ну-ка!..

— Ну, уже ли так, и пропади оно пропадом! — первая же Санька рядом с парнями за рычаг и ухватилась.

И камень снова тронулся, приподнялся и, наконец, с нарастающим громким шорохом, как огромное животное, перевернулся на бок и заскользил по склону, на бугорке подпрыгнул и ещё перевернулся, и ещё быстрее заскользил к воде...

И смотрели на его падение с ожиданием чего-то страшного, что должно случиться вот-вот. И никто не видел, как с вершины сосны бесшумно снялся филин, сделал круг над поляной и то ли улетел в лесные заросли, то ли растворился в сгущающемся сумраке. Камень достиг воды и встал, причём почти повторив своё положение на бугре, тем же боком вперёд, рукотворным углублением кверху...

— Вот так! Ну, что, давайте-ка костерок! Здесь и собрание комсомольское проведём.

И уже не думали о камне, о каком-то “кануне” все: и девушки и парни — собирали сушняк для костра, тут же и малышня крутилась, которую старшие пытались, да не могли прогнать... Взвизги и смех неслись по заросшим кустами и лесом склонам угора.

...То ли туда уголёк отлетел, то ли что — за поляной, вниз по угору занялся мох (лето сухое стояло), уже к кустам огонь подбирался. И у всех на глазах вдруг факелом взвился куст, и огонь уцепился за нижние ветви деревьев...

Да еще и травы сухой было много — тут никогда не косили и не пасли, сушняк палый, листва...

— Туши! Рубахами закрывай! — первым опомнился Серёга.

И все, кто как мог, кинулись затапывать огонь, накрывать его рубахами, скидывать к воде тлеющие сушины... И походило всё это на дикий яростный танец — люди и их тени метались в языках пламени, сталкивались, вскрикивали.

А из глубины леса и от реки поднимались, выходили и вставали, глядели на яростно пляшущих людей бесплотные белые фигуры, но никто из девок и парней их не видел.

...Наконец загасили огонь.

— Не говорить никому, — предупредил всех Серёга, отирая сажу с лица.

— А не надо было камень трогать! — кто-то из девок крикнул.

— А то не увидят, вон все — как черти грязные, — ещё кто-то рассудительно сказал.

И Серёга махнул рукой:

— Айда, братва, купаться! Девки, пошли с нами!

— Ещё чево — лешой! Жаба тебе на грудь!

Костя Куликов склонился под кустом на краю поляны над своей растоптанной гитарой, сдерживая слёзы, ощупывал то, что осталось от неё, и понимал, что инструмент испорчен безнадежно.

Парни все к реке побежали, и оттуда вскоре понеслись уханье и смех. А девки пошли к деревне, но тоже там, где прибрежные ивы были погуще, к реке свернули...

— Ой, чё и скажу...

— Матка, дак, убьёт...

— А вода-то тёпла-а-ая!..

— Поломали? — услышал Костя голос позади себя, обернулся — Санька Игнатьева.

— Ну... — голос его дрогнул.

— Ты... не расстраивайся. Ой, чего на руке-то у тебя? Кровь?

Костя и сам только сейчас увидел, что левая рука его расплосована, видно, сучком от какой-то сушины...

— Обмыть надо, перевязать, пошли... — И Санька, сама дивясь своей смелости, потянула парня к реке, но не туда, где плескались все остальные, и не в сторону деревни, а по-за кустами к тихому берегу. Костя покорно шёл за ней. И оба думали, что сердца их стучат предательски громко...

2

— Здравствуй, Егор Ермолаевич, — от кособокой калитки поприветствовал вышедшего на такое же кособокое крыльцо старика Михаил Васильевич Игнатьев — председатель коммуны “Красный Берег”.

— Здорово, здорово, — как обычно, внешне неприветливо, поприветствовал гостя старый охотник Кочерыга. Понимал, что не просто так пожаловал к нему такой гость.

— Поговорить хочу.

— Давай, давай, садись вот... — Кочерыга указал на вросшую в землю, старую, но и крепкую, как и он сам, скамейку под низким окном избы...

Избёнка неважнецкая, осевшая тремя передними окнами чуть не до земли, с давно разобранным двором...

Пожали руки. Сели.

— Как здоровье-то, Егор Ермолаич?

— Да как... В эту зиму уж не охотился, дак... Глаз не тот, рука дрожит, да и, парень, зверя жалко стало, а это уж последнее дело для охотника, — откровенно сказал вдруг старик, забрал в пригоршню щуплую свою бородёнку и подёргал зачем-то.

— Ну-ну... Рука у тебя ещё — дай Бог всякому, и идёшь — не горбишься... Пчёлок завёл вон — хорошее дело.

С весны Кочерыга, и правда, на удивление всей деревне поставил за домом два улья — не помнила Ивановка, чтобы кто-то здесь пчеловодством занимался. А Кочерыга, оказалось, и это умел...

— Говори уж — чего надо-то! — грубовато оборвал долгие подступы Игнатьева к главному разговору Кочерыга.

— Так чего надо... Мельницу, знаешь ведь, на ручье поставили мы. Пригляд за ней постоянный нужен. Подумали с мужиками — лучше тебя мельника не видим... Справишься ведь? А там и пчёлам твоим раздолье, и рыбалка...

— Ну-ну, ты, парень, не гони коней-то... Пчёлы, рыбалка... С этим я сам разберусь... А мельница, — он усмехнулся, — так я родился на мельнице. Ничего вы, молодые, не помните. Была же мельница — выше только по ручью, отец мой там хозяйствовал, да...

— Ну, так...

— Говорю же — не нукай, не запряг, думать надо... Ты думаешь, так это легко, всё равно, мол, бобылём на отшибе живёт. Одно дело — на отшибе деревни, другое дело — совсем одному...

— Да как там-то людей будет к тебе больше, чем тут...

— А мне, может, этого и не хочется! А? — опять возразил неуступчивый старик. Но Михаил Игнатьев знал уже, что он согласится...

...Негромкий плеск воды на плотине, подвижное зеркало омута, смолистый запах сосновых брёвен. Кочерыга — Егор Емельянович Кокорин — сидит на берегу омута, потёртый картуз глубоко натянут, так что оттопыривает крупные, в седых волосах уши; седые брови нависли над выпуклыми бледно-голубыми глазами. Рубаха-косоворотка у него новая — синего ситца, с тремя перламутровыми пуговками по вороту — подарок от коммуны на новоселье, потёртые штаны заправлены в задубелые крепкие сапоги. Сидит он на обрубке бревна, смотрит на воду, думает всякое.

Думает, что рубаха вот такая у него в парнях только и была, что вот так же отражалось от мельничной запруды неяркое солнце в его детстве, о том, что как не довелось ему материнской ласки узнать (мать умерла во время родов), так не знал он и бабьей ласки... Прибрал его у отца, ещё мальцом совсем, помещик Зуев Сергей Александрович, дядя тех Зуевых, что стрелялись у Марына камня.

Почему отец отдал его господам, он не знал. Первое время ещё помнил, потом будто бы и забыл... Потом уж узнал, что ненадолго и отец мать пережил — говорили, что сам и мельницу сжёг, и с собой что-то сделал...

В усадьбе мальчишку в обучение псарю и охотнику Григорию отдали. Тот был мужик неласковый, но дело своё знал. Уж никто и своры не держал, а Сергей Александрович — из Москвы он вроде бы приехал — решил большую охоту возродить. Собаки, оружие, лошади — всё это с детства окружало Егора. Потом не стало собак, умер и Григорий. Сергей Александрович уж иногда только выезжал на утиную охоту, брал Егора с собой.

Потом объявили всем вольную. Сергей Александрович к тому времени скончался. Как-то хитро болезнь его называли. Но Егор-то знал, что за болезнь была, — пьянство беспробудное. Кое-кто из старых слуг оставался ещё в усадьбе, а охотник Егор стал не нужен. Впрочем, отпустили его с тем самым ружьём, что от Сергея Александровича осталось. Без излишеств, простое ружьецо, а надёжное — до сих пор служит. Дали ещё денег двадцать

рублей за службу верную, да и отправили на все четыре стороны... Да он и сам уж за господ не держался — охотников среди них не осталось.

Впрочем, далеко не ушёл — переплыл на Красный Берег, в Ивановку, там и избёнку старую купил (хозяйева её в тот год новый дом срубили) да и зажил своей жизнью охотничьей.

Было — понравилась девка ему ивановская, да, видно, не судьба. Ходил к отцу её — сватался. Отказал отец, да и сама-то девка боялась его, что ли... Больше и не пытался, привык один жить...

Пчёлка ткнулась ему в бороду, и он твёрдыми пальцами осторожно вытащил её из волос. “Лети, глупая...” — усмехнулся и отпустил. Гулко хлестнула по воде рыба, и солнечная рябь разбежалась по омуту. С дороги (специально расширенной и разбуженной лесной тропы) послышалось плёпанье копыт, поскрипывание гружёной телеги, голоса. Старик поднялся, пошёл навстречу мужикам-мукомолам...

3

Жители Ивановки (далеко не все, конечно) собрались в “конторской избе”.

— Товарищи, то, что вы называете коммуной, таковой, по сути, не является. Кто входит в вашу коммуну, то есть, правильно сказать, — кооперацию, кто возглавляет её?.. — взмахивая рукой и несильно пристукивая по столу, говорил чернявый, по-мальчишески стройный “полномоченный” из уезда, товарищ Костиков.

— Известно, кто — Михаил Васильевич Игнатъев, — с дальней скамьи небрежно проговорил Воська Косой.

— Вот! А кем он является по сути? Кулаком он является, товарищи! — сильнее пристукинул по столу Костиков. — И в кооперацию свою собрал, разумеется, самых зажиточных...

— Да каких уж зажиточных-то? Своих мужиков и собрал...

— А кто работает на этих “кооператоров”? — гнул своё уполномоченный. — Беднота. То есть, товарищи, продолжается та же преступная эксплуатация бедняков, что была и при кровавом царском режиме.

— Так ведь и деньги платят за найм-то, — сказал кто-то невидимый из дальнего угла.

— Это кто там говорливый-то? — вскинулся сидевший за столом рядом с уполномоченным участковый милиционер Манюхичев.

— А ты нам, Пашка, рот-то не закрывай, — неожиданно высказался сидевший до этого смирно и незаметно старик Кочерыга. — Вопрос общественный, обществу и решать...

— Товарищи! Партия большевиков и советская власть ставит перед нами задачу полного искоренения буржуазных пережитков в деревне, каковым и является так называемая коммуна, возглавляемая гражданином Игнатъевым.

— Это что же? Вы меня и во враги советской власти запишете? — не выдержал Михаил Игнатъев, поднявшись со своего места у окна. — Нет. Я никаких законов не нарушал, и коммуна наша выполняла курс партии на новую экономическую политику... Мы газеты читаем...

— Товарищи, взамен кулацких коммун и кооперативов советской властью взят курс на создание истинно народных коллективных хозяйств, где главную роль будет играть беднота, — на колхозы, товарищи. Кулачество же на деревне будет искореняться как класс.

— Это как искореняться-то? — опять голос кого-то невидимого из угла.

— А вот так! — опять Манюхичев вскрикнул и тоже стукнул кулаком по столу.

...Так заканчивались недолгие “золотые” для русского крестьянства годы, уместившиеся в промежуток между политикой военного коммунизма и коллективизацией. Громила только-только зарождавшаяся народная кооперация, добровольно созданные коммуны, “кулачились” расторопные мужики-единоличники в деревнях и на хуторах...

В Ивановке за эти годы коммуна “Красный Берег” во многом преуспела: были построены водяная мельница и крупорушка на ручье, впадающем в реку, маслозавод, молочная ферма, теплицы (расширили те, что делал ещё до революции Савелий Носков), завели свой магазин в Ивановке, выкупили один из магазинов в Воздвиженьи...

Вечером в доме Михаила Игнатьева — совет. На завтра снова назначено собрание — “по приёму в колхоз”, как заявил уполномоченный.

— Вот как, Семён, вышло-то... Конец ведь это... Конец...

— Так ты завтра первым и подавай заявление в колхоз-то, всё барахло — тоже в колхоз, чего там, — потерявши голову, по волосам не плачут... — посоветовал Семён.

Михаил помолчал, пригубил браги из стакана. Помотал головой.

— Нет. Это ты сделай — вступай в колхоз. А мне, похоже, долю уже определили — ликвидация... как класс, — он невесело усмехнулся.

Они оба выпили. Помолчали, упершись взглядами в стол. Одновременно подняли головы. Встретились глазами. Со стороны они сейчас были очень похожи друг на друга, как когда-то в далёком, забытом детстве. Только у младшего брата, Семёна, лоб сильнее распахан морщинами...

— Спасать надо семью-то, — первым сказал Семён.

Михаил кивнул и крикнул ненужно громко, потому что жена была рядом, в выгороженной у печки кухоньке:

— Глафира!..

...Всю ночь при свете керосинки, под сдавленные поскуливания жены собирались вещи, грузились на телегу. Жена и дочь норовили побольше прихватить, но Михаил был неумолим:

— Только самое необходимое — инструмент, посуду самую нужную, одежду, всё-то тряпье не берите. Надо и колхозу оставить! — невесело шутил он. Помогали в сборах и Семён с женой Верой Егоровной.

Санька улучила момент, отозвала брата Лёшку, что-то шепнула тому торопливо. А тот, конечно, не утерпел и брату Пашке что-то шепнул. И оба мальчонки незаметно улизнули со двора, хоть и интересно было наблюдать за сборами, хоть и понимали умишком детским, что сборы нерадостные, а и грусти не ведали... Отец с матерью и не заметили в своём горе и хлопотах, что мальчишек нет. А те вскоре уже на угор взбирались.

— Мы уезжаем! — первым Лёшка крикнул.

— В город! — Пашка добавил.

— Да тихо вы! — не ожидавший увидеть их и от этого растерянный прикрикнул на них Костя Куликов. — Санька-то где?

— Сундук свой ворошит.

— Батька велел лишнее барахло выкидывать, а она ревёт, что лишнего нет у неё...

— Пошли с нами, она со двора выйдет.

— Ага, вы бегите... Я приду...

Костя не знал, что делать. Он понял, что затеял Михаил Игнатьев.

— Эй, стойте! — окликнул мальчишек. Те встали.

— Скажите, не приду я сейчас. Не приду. Скажите — найду в городе. — И Костя чуть не бегом кинулся с утора к воде, где стояла причаленная лодчонка...

Прокричал первый петух, и ему откликнулись собратья по всей деревне, мыкнула во дворе корова, всхлинула Глафира Кирьяновна, жена Михаила. Сдавила в горле крик Санька, обнявшись с Полиной, и только погодки Лёшка и Пашка, двенадцати и одиннадцати лет, спокойно болтали ногами, сидя на задке телеги и уплетая по горбухе хлеба...

— Ну, не поминайте лихом! — Михаил Васильевич Игнатьев тронул поводья, и Карько покорно двинулся, вывез телегу на сумрачную улицу. Двинулись по дороге к мосту, что в десяти верстах вниз по реке. И дальше, дальше, в далёкий город, где с давних, ещё барских времён жил их двоюродный дед и ещё какая-то малознакомая родня. В неизвестную новую жизнь.

На следующий день в колхоз разом вступили двенадцать семей. Председателем был избран Семён Игнатьев. Для кого-то это стало неожиданностью:

как, мол, так — брат главного, да ещё и бежавшего деревенского кулака... Но уполномоченный Костиков помнил, что сказал ему Иван Сергеевич Поздняков, отправляя в этот глухой угол: “Приглядишься там к Семёну Игнатьеву. Это наш человек”. И как только кто-то назвал эту фамилию, Костиков горячо поддержал это предложение. Назвали колхоз, не мудрствуя лукаво, так же, как называлась и разогнанная коммуна, — “Красный Берег”, благо красный цвет у советской власти был в чести.

4

Отец Николай надавил плечом и сдвинул тугую дверь (дом оседал, и верхние венцы прижимали косяк), околоченную изнутри обрезками его бывшего, на ватине, пальто. Вышагнул на зашнурованное, выметенное от снега крыльцо. Иней взвизгнул под валенками. Священник поднял глаза к синему до черноты небу — звёзды сияли, будто каждая умыта огромной доброй рукой... Он поправил камилавку и пошёл по хрустящей под ногами тропке к реке, откуда слышался гул голосов. Ещё с вечера вырубил мужики прорубь в виде креста и сейчас, наверное, подрубили уже успешную прихватить польную ледяную прозрачную корку и столкнули её под лёд. “И плывёт крест ледяной вниз по течению, благословляя реку и берега”, — красиво подумалось тут отцу Николаю.

Он прошёл мимо бывшего своего дома (в прошлую Пасху выселили его с матушкой в пустующую бобыльню избёнку), в котором теперь располагалась библиотека. Книги в библиотеку перетащили зачем-то из барского дома, в котором теперь была школа, большая часть собрания книг Зуевых, конечно, каким-то образом во время этого переселения пропала. Мимо храма, мимо прихрамового кладбища, где вот уже третий месяц лежит и его матушка-попадья... Белые ветви до малейшего изгиба, до мельчайшей вички графически чётко видны на фоне тёмного неба, отдельно растущая берёзка — как кружевная накидка, из тех, что ещё хранятся зачем-то в его нынешнем доме на дне старого сундука. Толпа на реке изрядная, с Красного Берега тоже ведь пришли, да и из дальних деревень. Перед священником расступаются, пропускают его к проруби.

— С Богом приступим, православные, — просто сказал отец Николай, начиная водосвятный молебен...

...Снег под полозьями взвизгивает, искрится в лунном свете. Белое речное русло очерчено пёстрыми бело-чёрными прибрежными кустами. Ходко, но при этом как-то и привычно неторопливо бежит мерин, тащит за собой сани-розвальни, в которых трое — искры их самокруток отлетают и гаснут в неверном лунном свете.

— Неймётся попу! Ну, придётся унять, — проговорил глухой голос сквозь зубы.

— Целой делегацией явились к нему, просили, чтоб отслужил...

— Это уже на организацию тянет. Ну, агитация — само собой... Н-н-о, Голубчик! Шевелись, старый!

Едут трое. То и дело кто-то из них спрыгивает с саней и бежит рядом — греется. Едут в Воздвиженье. Председатель уездкома Поздняков, милиционер Манохичев и комсомолец Куликов, отправленный ещё поутру председателем колхоза имени Ильича в город с тревожной запиской: “В виду предстоящего отправления религиозного обряда, что является злостной поповской агитацией и дурманом для молодёжи и прочих колхозников...”

Тёмная шевелящаяся масса на белом снегу, сизоватое марево выдохом над нею — толпа между двух берегов... Вот уж и отдельные фигуры различимы: бабы, укутанные в платки, мужчины, ребятишки... Комсомолец Куликов как-то сумел раствориться сразу, будто и не ехал с Поздняковым и Манохичевым. А перед милиционером и председателем уездкома расступались молча... И вот он — поп. В рясе своей, с крестом золотым на брюхе, две бабки перед ним раскрытую книгу держат.

— Прекратить! — милиционер крикнул.

— Гражданин Бобылёв, вам было запрещено отправлять культ, — твёрдо сказал Иван Сергеевич Поздняков.

Отец Николай прекратил чтение и глядел на прибывшее начальство, но ничего не говорил.

— Где колхозный председатель? — Поздняков ко всей толпе обратился, но ответа не услышал. — Так, и комсомольцы здесь? — кого-то острым взглядом из толпы выхватил.

— Мы никаких законов не нарушаем! Не мешаем никому, — голос из задних рядов прилетел.

— Это кто там такой смелый? — Манюхичев взвился.

— Чего вам надо-то, рожки бесстыжие, чем вам батюшка-то помешал? — послышался старушечий голос.

— Повторяю, гражданину Бобылёву запрещено отправление религиозного культа. Расценивается как кулацко-поповская агитация!

— Мужики, да вы чего на них смотрите-то? Разве ж это народная власть — если против народа? — откликнулся женский голос где-то рядом, сказал спокойно, негромко...

— Это кто, это кто?... — Манюхичев обернулся на голос, пытаюсь понять, кто это сказал.

Иван Сергеевич Поздняков тоже обернулся на женский голос... На знакомый голос... Он узнал её глаза под низко надвинутым пуховым платком. И отвернулся. “Узнала ли она меня?..” Час назад проезжали мимо той деревни, и он пытался с реки разглядеть крайний дом. Увидел лишь чёрный силуэт крыши за прибрежными кустами... “Сколько же лет прошло...”

А кольцо-то вокруг них сжималось. Рука милиционера к кобуре потянулась:

— Назад!

Тут и отец Николай голос подал:

— Православные, остановитесь!

— Батюшка, ты бы отошёл...

— Назад!

— В прорубь их!

Грохнул выстрел, но стрелял не Манюхичев. Откуда-то сзади, со стороны Красного Берега... Обернулись: бежал в распахнутом полушубке Семён Игнатьев с охотничьей двустволкой в руках, рядом семенил Костя Куликов.

— Расступись! — Игнатьев крикнул. Но толпа уже и так раздвинулась. По образовавшемуся проходу шли навстречу председателю колхоза “Красный Берег” Поздняков и Манюхичев.

— Зачинщики будут арестованы! — пообещал Поздняков, ни на кого не глядя. — Так-то у тебя, Семён Васильевич, антирелигиозная пропаганда поставлена? — уже Игнатьеву сказал.

— Ладно хоть успели... — выговорил запыхавшийся Игнатьев. — Прощу, товарищи, ко мне... — указал рукою на берег...

— Ладно? Нет, Игнатьев, не ладно!..

Сани подъезжали к избе Игнатьевых, Семён Васильевич не сел, рядом шёл.

Манюхичев, державший вожжи, стоявший в передке на коленях, оглянулся на реку, где уже черпали святую крещенскую воду из проруби.

— Так ведь и не разошлись. А ведь это прямое выступление против советской власти. Ну, ничего, я их всех запомнил.

— Почему вы не приняли мер? — спросил Поздняков. — Козырев хоть нам записку послал, — сказал он о председателе воздвиженского колхоза имени Ильича.

— Как можно предотвратить неизбежное? — вопросом ответил Игнатьев. — Проходите, пожалуйста, сюда вот меринка поставим...

Поздняков вспомнил своё первое гостевание в доме Игнатьевых, в дни разгрома банды Якова Попова. Да, тогда он и оценил Семёна Игнатьева, его влияние на местных мужиков — поддержал, выдвинул, дал рекомендацию в партию. Теперь вот Семён Игнатьев председатель местного колхоза.

Ничего, кажется, и не изменилось в этом доме, только хозяйин заметно поседел, а хозяйка вроде уменьшилась в росте, но всё так же суетилась у ше-

стка в кухне, уже готова что-то для неожиданных гостей. Вошёл крепкий румянощёкий парень, с Поздняковым и Манюхичевым за руку поздоровался.

— Здорово, здорово, Василий! — Поздняков узнал хозяйского сына. — Не женился ещё?

— Погожу пока, — ответил Василий и вдруг покраснел. — Батя, я к Киселёвым тогда, — отцу сказал.

— Давай, — кивнул Семён Игнатьев.

— Хорош сын-то у тебя, Семён Васильевич, — похвалил Поздняков. — А дочь-то... — и осёкся, вспомнив, что с дочерью-то и не больно добро у Игнатьева.

Семён, услышав о дочери, лишь махнул рукой.

На столе появилась бутылка водки, закуска...

— Ну, рассказывай, председатель, чем живы, как живы, — снова спросил Поздняков.

Милиционер Манюхичев всё молчал. В иззяном тепле после первой же стопки его заметно развезло, и он ждал, когда же предложат прилечь, — ночь ведь к тому же...

Утром следующего дня собрались они рано и быстро, Игнатьев до берега проводил, но в Воздвиженье не поехал, хотя и звали. Объяснил только, что надо вверх по течению проехать и там можно поворачивать — берег уже будет пологий. “Да там путь накатан — не собьётесь! Удачи, товарищи!” На том берегу — сразу к дому Козырева, председателя колхоза, мерина направили... Манюхичев, пока Поздняков серьёзно и не очень-то вежливо беседовал с председателем колхоза имени Ильича, подошёл к поповской избёнке. Выпавший под утро снежок от дороги и дальше до порога был не тронут ничьим следом. Дверь в дом припёрта по местному обычаю батажком: нет, мол, никого. Но и замок висел. Манюхичев всё же подошёл к двери, дёрнул замок, сплонул под ноги и отправился обратно к председательскому дому...

Глава седьмая

1

— Отец Николай, а ведь заберут тебя, давай-ка, от греха, ночуй у меня, а поутру в Михайловку увезу, к зятю, а там, если что, и ещё найдём место, где отсидеться... Нам ведь и Пасху справлять надо будет, — для пущей убедительности, видя, что священник собирается отказаться, прибавил Платон Гордеевич Болотов, колхозный бригадир. И отец Николай не отказался...

Так всю зиму и начало весны, до самой Пасхи и жил отец Николай то в одной, то в другой деревне. Хотя вроде бы никто специально его и не искал. Правда, вскоре после Крещения, чуть было не кончившегося для милиционера Манюхичева и главного уездного партийца Позднякова купанием в проруби, наезжала из уезда какая-то комиссия, и Манюхичев при ней тёрся, вызывали в председательский дом кой-кого из мужиков и баб и забрали с собой в город Платона Болотова. Забрали — да и с концами...

...Авдей Иванович Козырев, председатель колхоза имени Ильича, увидев в предпасхальный вечер раскрытые ворота храма, огоньки свечей внутри, видя, как идут и идут к церкви люди, и не только воздвиженские — со всей округи (вон — и краснобережцы тут)... так вот, увидев это, он сперва хотел броситься туда, где “отправлялся культ”, самолично прекратить безобразия и вражескую пропаганду (помнился ещё крещенский нагоняй от Позднякова), но потом решил сделать вид, что ничего не знает, уйти спокойно домой да и лечь спать, авось до уездного начальства и не дойдёт ничего. Но тут же и отбросил эту мысль: многие его сейчас видят, стоящего на дороге перед храмом (сходил, понимаешь, в поле, поглядел землицу), и уж благодетель найдётся, который шепнёт кому надо, что он, Козырев, мер по предотвращению безобразия не принял. “Игнатьеву, вон, горя мало. Почитай, вся Ивановка тут, а с него спроса не будет, как и зимой не было... Нет, надо решать окончательно с это богадельней!” От храма он решительно пошёл к колхозной конторе, расположенной в большом доме Мужиковых, рас-

кулаченных прошлой осенью и высланных по суду куда-то “на Севера”. Мимо своего дома проходил — даже не завернул, крикнул через ограду Серёжке: “Всех партийцев и комсомольцев срочно в контору! Бегом давай!”

Почти час собирались: троё партийцев да пятеро комсомольцев, включая и сына председателя...

И вот пятёрка комсомольцев да ещё столько же активистов (друзьки ихние) идут к храму.

— А ну-ка, расступись, дай пройти!.. — С трудом и неохотой, а расступались перед активистами-комсомольцами: свяжись с варнаками — себе дорожке.

Но кто-то Серёгу Козырева всё ж в тесноте крепко локтем в бок ткнул. Кто-то громко сказал:

— Шапки долой! В храм пришли!

Они кое-как пробились по высокой лестнице, расталкивая людей, прижимая к стенам на паперти, до широко распахнутых двустворчатых дверей в церковный зал, где густо пахло ладаном и горячим воском, а люди стояли, стиснутые плечо к плечу, слушая слова пасхальной молитвы... И тут на колокольне ударил колокол, вся масса народа колыхнулась, как единое тело, к выходу. Из алтаря выносили хоругви, отец Николай, перед которым каким-то чудом толпа раздвигалась, шёл к выходу — большой, торжественный... А те, что стояли у дверей, стали отступать на лестницу, задние выходили на улицу. На паперти, как обычно, возникла невообразимая давка...

— Православные, православные!.. Да...! — заверещал прижатый к стене, задыхающийся старик Кочерыга...

И вот в эту-то толпу и попали комсомольцы — рванулись за Серёгой, вперёд, встречу попу — и это было роковой их ошибкой: напиральная масса была неодолима. Серёга споткнулся, завалился на стоящего сзади. Спереди напирали на него, опрокидывали, никто не слышал его крика, приятели его тоже были смяты, слились с толпой...

Отец Николай понял, что впереди затор, сознавая, чем это может грозить, остановился, зная, что за ним не сразу, но остановится и вся людская масса и даст возможность выйти тем, что столпились на лестнице и у выхода... Вытащили друзья Серёгу с помятой грудиной на улицу, посадили спиной к стволу липы... А он и раненый, как настоящий командир, командует: “Братва, камни берите, по окнам...” Был Сергей парень упорный, и если уж решили (тем более отец попросил) религиозную пропаганду сорвать — всё сделает, чтобы выполнить решение. А “братва” его слушает, он настоящий вожак местных комсомольцев...

Зазвенели стёкла, застучали камни и о стены, кому-то и из выходящих из церкви досталось.

— Да они что же делают! Хватай их, мужики!.. В реку!..

Костя Куликов первым почувал нешуточную угрозу — как из церкви выкатился, сразу в кусты, между могил, и полетел к дому Козыревых.

И старший Козырев бежал теперь к церкви по размокшей грязи, на бегу заряжая револьвер...

До смертоубийства дело не дошло, но помяли комсомольцев крепко.

— Где этот попяра?! — орал председатель. Но служба уже закончилась, народ расходился, на двери храма как-то незаметно появился замок, и — будто бы ничего и не было...

А было светлое пасхальное утро. Пунцовое солнце поднималось с востока, поливало всё розовым светом. Воздух был пьяняще свеж. Тишина вдруг зависла во всём мире. И покой будто бы в самом воздухе был разлит...

И в это утро, никем не замеченный, всеми потерянный, уходил береговой мокрой тропкой отец Николай встречу солнцу, к истоку реки.

2

Вечером он выбрался к болоту. Бескрайнее, мшистое, кочкастое полотно раскинулось перед ним. Кое-где торчали чахлые кривые сосенки да берёзки-вички. Виднелись во мху прошлогодние водянистые ягоды клюквы. С высокой береговой берёзы с треском, чёрно-бело мелькая, сорвалась и полете-

ла вглубь болота сорока. Отец Николай перекрестился и шагнул на качнувшееся под ногой, будто над бездной натянутое мшистое покрывало, пошёл туда, куда улетела птица...

А недалеко и островок был — метров двести. Росла тут одна большая берёза, пара чахлых сосен. Но почва на этом островке посреди болота, дающего исток реке, была удивительно твёрдая, и в землянке, выкопанной посреди острова, воды не было. Под берёзой лежал огромный, такой же, как Марьян на Красном Берегу, камень. А к нему прислонён подгнивший и выпавший из земли, весь в зелёном мху крест.

Отец Николай опустил пред крестом на колени, кинул троеперстно сложенную длань ко лбу и плечам, зашептал слова молитвы...

...А ведь это было то, о чём уже давно мечтал отец Николай: покой, тишина и воля... Он успел хорошо подготовиться к зиме. Приходилось, правда, несколько раз ещё выходить к деревьям для закупки продуктов (деньги кое-какие у него были). И теперь сидел в землянке у тёплой печки, макал остро заточенную палочку в самодельковую деревянную чернильницу. Да и чернилато — сажа, водой разведённая... Писал в толстой амбарной книге.

“...Откуда явился в места наши угодник Божий Николай, прозванный позже блаженным Николаем Краснобережским, достоверно не известно. По словам одних, был он монах Троице-Сергиевой лавры, по словам других — из самого Киева пришёл. Достоверно известно, что был он монахом в иерейском чине. И было это во времена правления Благоверного князя Александра Невского.

Как гласит местная легенда, приплыл он на лодке с воздвигнутым в ней наподобие мачты крестом. И пристал сперва к Красному Берегу, близ деревни Ивановки. Местные жители поначалу ему мирволили, указали место, где можно келейку срубить, помогали и пропитанием. Собирались уже и церковь ставить... В те времена хоть и были уже все краснобережцы православными христианами, но сохраняли ещё многие языческие привязанности. Так, по окончании Петровского поста устраивались гулянья с кострами да хоровами, девки же заплетали венки и на воду пускали. И был Николай свидетелем тому, и обличил людей в языческих тех пристрастиях.

Жители же Ивановки не желали по гордости своей слушать его и велели покинуть их пределы.

Николай далеко не ушёл. Переплыл на другой, пустынный в те времена берег. И прямо напротив угора, где лежал издревле камень, у которого и совершались бесовские пляски да игрища, установил крест, рядом же и келейку срубил. Со временем вблизи его кельи стали селиться люди из числа краснобережцев, желающих по какому-либо поводу выделиться из общины, а также и пришлые. Сам ли Николай ходил или же кто-то из живших рядом в Ростов, то неведомо, но по благословению правящего архиерея построена была церковь деревянная, на месте которой нынешний каменный храм стоит...”

Недолго всё же в небытии для местных жителей оставался отец Николай. Осенью бабы-ягодницы, бравшие клюкву, вышли на его островок. Две их было. Дали слово язык за зубами держать. Но раз в неделю одна из них приносила и оставляла на краю болота, там, где кончалась лесная тропка, хлеб да картошку... Отец Николай хоть и вёл постнический образ жизни, такому повороту был даже внутренне рад. Всё же сущность человечью не обманешь — голод не тётка, а те запасы, что принёс в заплечном мешке, подходили к концу. Да и бабы, похоже, оказались не из болтливых...

“Храм же был освящен во имя Воздвижения Креста Господня, — писал отец Николай. — По нему же и село, вокруг образовавшееся, назвалось.

Долгие годы служил Николай настоятелем устроенного им самим храма, неся в округе свет веры Христовой, в любви и уважении жителей пребывая.

Случались же и клеветы на будущего святого. Так, был он уже в преклонных летах призван к правившему в то время архиерею по доносу кого-то из прихожан о якобы грехе пьянства. Но грех тот за отцом Николаем установлен не был...”

Впервые отец Николай столь свободно по доброй и давней воле отдался творчеству, испытывая все муки и радости его. Временами он впадал в такое состояние, будто бы сам жил в то время, сотни лет назад, на берегу этой реки, видел те дремучие леса вокруг Ивановки, полноводную реку, видел пожоги в лесу, а потом на месте их пашню, видел ночные костры на горе, пляски и хороводы вокруг Марьиного камня... И в отчаянии понимал, насколько не соответствуют те серые слова, что писал он, тем ярким образам, среди которых жил во время писания...

“И всё же зададимся вопросом: почему получил будущий святой Николай прозвание Краснобережский, ежели главные труды свои творил как раз на другом берегу? Думается, потому, что трудами своими, своим молитвенным служением показал он великий нравственный и христианский пример, в первую очередь, именно жителям Красного Берега, кои хотя и считали себя православными христианами, не были таковыми по сути...

Но вернёмся к житию святого Николая. Пришёл час, ведомый лишь самому блаженному Николаю да Тому, Кто создал время и вечность, когда решил он оставить и село Воздвиженское, и его трудом и попечением построенный храм. Несколько лет никто из Воздвиженских прихожан не знал, куда исчез отец Николай; одни почитали его уже почившим, другие же думали, что он покинул округу ради уединения и подвигов духовных. Отчасти те, вторые были правы. Но не так уж далеко ушёл отец Николай. В дне пути от Воздвижения есть огромное болото, из которого берёт свой исток река, пересекающая эту местность. Там-то, на болоте и наткнулись воздвиженские жители, собиравшие на болоте клокву, на уединенную келию, представлявшую собой землянку посреди острова...

В келии же обнаружили и отца Николая, узанного, хотя и с трудом, некоторыми из нашедших его. А потому, что старец безмолвствовал, поняли, что принял он на себя и подвиг безмолвия. Просив святого старца молиться о них, люди те удалились от келии его.

Но стали приходить люди за помощью к отцу Николаю и на болото. Просили молитвенной помощи и приносили еду, брал же он лишь чёрный хлеб. Чем же питался он до обнаружения своего?

Так прошли ещё года три в постоянных молитвах и безмолвии.

И пришли опять к келии святого старца, но не было его там. Поначалу ждали его люди, думая, что удалился он для собирания ягод или иной пищи, стали потом искать. Но так и не нашли.

Однако же нашлись те, кто продолжали просить молитвенной помощи Николая Краснобережского. И при искренней молитве всегда получали её. Так и до сего дня”.

3

Уж и зима свой пик миновала. Выдожил отец Николай, приспособился к жизни в землянке. Печурка, из камней сложенная, исправно топилась, деревянная труба из полой нетолстой колодины дымок наружу выдувала... Поутру он молился, потом собирал дрова по окрайку болота, исследуя заодно и следы на снегу (лиса, как стежками в одну линию строчит; заячьи пятнашки; ещё какого-то зверька следки — белки или мыши...) Он побаивался волков, но волчьих следов, к счастью, пока не видел. Готовил похлёбку, снова молился, писал житие Николая Краснобережного... И подспудно всё время ждал, что придут за ним... Не могло быть такого, чтоб никто не заметил, как бабы еду носили. В последний-то раз уж по первому надёжному снежку санки притащили — мешок картохи, мешок хлеба, крупы, луку, а он сам с осени ещё успел клоквы побрать да грибов... Тогда и велел он им до весны уже не ходить... Валенки ещё принесли они, тулуп какой-то...

Одна из этих женщин — старостиха, вдова последнего церковного старосты, незаменимого помощника отца Николая во всех начинаниях, Мария Корчагина. Муж её Илья, как услышал в прошлом году, что его двор под раскулачивание попадает, в тот же день и упал, “ударом” разбитый, недолго и мучился — на следующий день отдал Богу душу, и тем спас жену и чет-

верых ребятишек. Их уже не стали выселять, лишь свели со двора одну из двух коров.

Вторая — глухая Полина Игнатьева с Красного Берега. Когда поправилась она от контузии, выяснилось, что оглохла напрочь, да вроде как и умом тронулась. В церковь каждый день стала из Ивановки на лодке приплывать, отец её, Семён, хоть и председатель, коммунист, а не держал. Так, считай, при храме, пока был открыт, и жила, только на ночь домой возвращаясь... “Не случайно они жильё моё нашли, сам Господь их мне послал!” — думал отец Николай, поминая добрых своих кормилиц в молитве...

Не было у него сейчас лыж, вот что плохо, тяжело без лыж-то... Ну, да он далеко-то и не ходил.

Однажды утром его разбудили перестуки топоров. Перебивающие друг друга, частые. Потянуло древесным дымом. “Это что же, ближе к деревне леса не нашли?.. Да и что-то много, кажется, лесорубов...”

Шумное и многолюдное соседство совсем не устраивало священника-отшельника.

Весь день он сидел, прижавшись к остывающей печурке, загасив постоянный до этого огонь, боялся и нос высунуть. Когда начало смеркаться, решил, вылез из землянки-норы.

До того места, откуда слышались звуки топора, и сейчас ещё не умолкшие, он прикинул, — если напрямую, будет версты две. Но он сначала к ближайшему берегу, под прикрытие кустов да деревьев стал пробираться. Потом уж по берегу, проваливаясь по колени в снег, долго шёл на звуки и дым.

Сперва он не понял, выйдя к краю широкой свежей вырубке, что это: какие-то огромные шалаши из целых деревьев, издали похожие на вигвамы североамериканских индейцев, виденные на картинках в книгах... Дым валит из всех дыр этих “вигамов”. Костры и на воле, рядом с шалашами горели. Люди-тени мелькали в свете огня. Не прерывался перестук топоров, слышались взвизги женщин, грубые мужские голоса, детский плач... “Да что же это такое-то? Что за наваждение?..” Отец Николай подошёл ближе к тем людям. Он ещё опасался, но что-то неодолимо влекло его туда...

Силуэты и тени обрели плоть. Женщина, укутанная в какое-то тряпье, сидела на свежем пне, а на словом лапнике лежали три человека: ребёнок, мужчина и женщина. То, как лежали они, — околелое, мёртво, — не оставляло сомнения...

Отец Николай, не скрываясь, подошёл ближе. Старуха подняла глаза на него. И он распахнул тулуп, показывая крест на груди...

...Их даже не охраняли, этих “выселенцев” с Украины. А куда они могли уйти? И оставалось им или умереть всем, или, пусть теряя родных и близких, но врубаться в новую для них жизнь. И они врубались — стук топоров и визг пил не прекращался ни днём, ни ночью. Через неделю были готовы два первых барака. Потом отдельное здание конторы и столовой, ещё жилые помещения. Уже через месяц с небольшим новый лесопункт выдавал продукцию — товарную древесину для государства. Хлысты с вырубок оттаскивали на лошадях к берегу реки, там складировали, чтобы по весне начать сплав...

Впрочем, отец Николай этого уже не увидел. За ним приехали на третью неделю его жизни среди ссыльных украинцев. Всё это время он соборовал, отпевал, как мог помогал хоронить мёртвых.

Глава восьмая

1

Лично Аксютитц Позднякова и арестовывал...

Начали прибирать и всех “поздняковцев” — так с лёгкой руки, а точнее — гадкого языка того же Аксютитца стали называть всех “ставленников” и “сообщников” (опять же его, Аксютитца, слова) на страницах местной прессы...

Семён Васильевич Игнатъев знал, что скоро придут и за ним. Сам ушёл с председательского поста. Попросился на колхозную мельницу и пасеку при ней.

Кочерыга два года назад странным образом пропал с мельницы — ружьё на месте осталось, другие вещи, а самого старика не было. Спустили из ому-та воду, всё дно обшарили — не было старика. Так больше его и не видели. Странно жил — странно и исчез...

Там, на берегу лесного ручья, в избушке и стал жить Семён Васильевич. Даже ночевать не всегда приходил в Ивановку.

— Что ты позоришь-то меня?! — в сердцах бросала ему Вера Егоровна. Молчал. Или миролюбиво просил:

— Не ругайся, мать, мне там способней. Мы своё уж отжили...

... Золотистая пчёлка путалась в волосках на его руке.

— Что ты, глупая, лети, лети, — подтолкнул её Семён твёрдым, как гвоздь, пальцем, и пчела снялась, полетела...

Непрерывный гул пчёл усиливал тишину.

Тишина будто опустилась с бледно-голубого сентябрьского неба, накрыла лужайку, омут и лес, и всю округу...

Ещё будто бы лето, но нет: белым пухом взамен розовых султанов оделся иван-чай, побурели местами головки кашки, в зелени берёзок появились жёлтые заплатки...

Ветерок качнул траву. Качнулась и паутиная сеть между травинок, и суетливо дёрнулся в своей сети паук с крестом на спине...

Из леса по тележной дороге выехал всадник — Василий Игнатъев, сын Семёна, сменивший отца на посту председателя колхоза. Спрыгнул с коня, накиннул повод на столб ограды.

— Здорово, отец, — Василий отмахнулся от пчелы, оглянулся, сел рядом с отцом на ступеньку крыльца, ещё вправо-влево глянул.

— Ну, здорово, председатель, да не маши руками-то, Васька...

— Уходить тебе надо, отец... Они сегодня в Воздвиженье, завтра сюда заявятся... Уходи.

— Да куда уходить-то мне, — помолчав, ответил Семён Игнатъев. — Некуда мне уходить... Матери не сказал ещё? Не надо, не пугай раньше времени.

— Уходи, отец...

— Да что ты заладил-то! В колхозе как дела? Уборочную когда закончите?

— Закончим. — Василий пристукнул кулаком по колену. — За что, а? Ну, за что? Ведь ты здесь советскую власть устанавливал, ты колхоз создавал, ты покоя не знал, чтобы дать зерно, мясо, молоко этой самой власти...

— Ну, значит, за это за всё... Другой вины не знаю за собой, — усмехнулся Семён. Потом сказал твёрдо:

— Ты, Василий, не паникуй. Может, всё и образуется. А сам-то завтра не путайся под ногами у них, езжай на дальние поля, уборку там контролируй. Твоей-то вины точно никакой нет, и знать ты ничего не знаешь... Вот так... Мать береги, Полинку. Да и женись уже давай! Что ж нам с бабкой, и внуков не видать, а?

— Может, уйдёшь, отец? К озеру или за болото, зимовку сладим тебе, отсидишься, а там, глядишь, и выяснится всё, отвяжутся...

— Не отвяжутся. Я уйду — тебя возьмут. Не отсидеться. Всё, езжай давай. Давай, давай...

— Поехали хоть домой...

— Нет. Дай мне в покое крайний день побыть...

Не оглядываясь, уходил Василий — высокий, крутоплечий, быстрый и резкий в движениях — игнатъевская порода... Вскочил на коня, ткнул каблуками в бока...

Семён обвёл взглядом пасеку — два десятка ульев, оградка, неяркий осенний лужок, лес, позади — тихий омут... Что-то ждёт завтра. Арест, допросы, тюрьма... Зачем всё было? А может, прав был Яшка Попов — командир "повстанческой армии"?

Недалеко и отъехал Василий — услышал голоса впереди. Спешился, взял коня в повод, ушёл с тропы в лес, за деревья да кусты.

— Тихо, Карько, тихо, — коня по шее успокаивающе похлопал.

В телеге, катившей за неторопким меринком, сидели трое: один — в штатском и двое — в милицеской форме; один из этих двоих — старый участковый Манюхичев. Он ведь к Василию и прибежал. Упредил:

— Сегодня они в Воздвиженьи, завтра к нам переедут...

Значит, решили на том берегу не задерживаться, сразу на Красный махнули. “Может, и прав отец, что не прячется...”

Едут, не приглушая голосов. А чего опасаться? Что может сделать им старик... И тут как калёной иглой пронзило Василия: “Ружьё!”

Он вывел жеребца на дорогу, вскочил в седло... И в это мгновение грохнул выстрел... Жеребец прижал уши, запереступал на месте, и Василий опять ткнул его пятками, погнав вдогон телеге к мельнице... Спешился в кустах перед пасечным лужком, не выдал себя.

Удивительно тихо. Двое сидят за телегой посреди луга, мерин спокойно жуёт траву. Дверь избушки распахнулась, вышел Манюхичев, махнул:

— Идите!

А Василия опять по сердцу будто полоснуло: “Так кто же и в кого стрелял?” И уже не скрываясь, бросив жеребца в кустах, выскочил на луг, побежал к избушке. Один из тех, что сидели за телегой, потянулся рукой к поясной кобуре, второй, тот, что в штатском, тоже руку за пазуху сунул... Подвинув плечом участкового, вышагнул за порог Семён Игнатьев, и у Василия при виде отца подкосились ноги, и он уже не бежал — брёл по траве...

— Кто такой? — спросил его незнакомец в форме НКВД.

— Василий Семёнович Игнатьев, председатель колхоза.

— Сын это его, — вставил Манюхичев, кивнув на Семёна.

— Ты чего, Васька? — спокойно и даже нарочито пренебрежительно спросил отец.

— Что за стрельба? — строго спросил человек с морщинистым лицом в штатском.

— Да хотел ружьё перезарядить, медведь поблизости ходит, нажал случайно, — спокойно сказал старший Игнатьев.

И в этот момент мерин, мирно стоявший до этого посреди луга, вдруг, будто всеми четырьмя ногами сразу толкнувшись, подлетел в воздух, с отчаянным ржанием дёрнулся вправо, влево и понёсся к лесу, волоча за собой опрокинувшуюся набок телегу. На его ржание отозвался Карько, выскочил из кустов и тоже поскакал вдоль леса.

— Пчёлы! — крикнул Манюхичев и хлопнул себя по шее, сморщился, но сразу рванулся бежать за меринком.

— Карько! — крикнул Василий и тоже побежал за конём.

— А! — вскрикнул “штатский” и хлопнул себя по лбу.

— Да не дёргайтесь вы, дурни! — тоже потеряв спокойствие, рявкнул Семён Игнатьев...

...Вот так и произошёл его арест.

Василий сразу ушёл с председательства и вскоре, выучившись у городского шофёра, стал первым в округе водителем на новенькой, купленной колхозом полторке.

Что был за выстрел во время ареста отца? В кого и зачем стрелял отец, он так и не понял, — не в тех же, кто пришёл арестовывать его? Но ведь и не в себя же?..

...Через три месяца пришло из города казённое письмо, в котором сообщалось, что Семён Васильевич Игнатьев умер во время следствия от сердечной недостаточности. Сразу слегла и Вера Егоровна и больше уж не поднялась.

А весной следующего года Василий Игнатьев наконец женился. В свои двадцать пять Катерина считалась уже старой девкой. Без шумной свадьбы и гулянки обошлись, тихо расписались в сельсовете да и стали жить.

За Иваном Андреевичем Поздняковым захлопнулась обитая железом старая монастырская дверь.

Губернское управление ОГПУ расположилось в этом старинном монастыре в самом центре города надежно и нетесно. Тут же и следственная тюрьма была. В одной из её камер — бывшей монашеской келье — и оказался Иван Поздняков, недавний хозяин губернии.

Зарешёченное да ещё и забранное наполовину досками оконце в стене метровой толщины, выходившее во внутренний двор бывшего монастыря, почти не давало света. Но горела электрическая лампочка на потолке, тоже в решётчатом колпаке — своеобразный символ тюрьмы.

Два топчана вдоль противоположных стен, на одном (у правой стены) — матрас и подушка, серое армейское одеяло, стол под окошком, два табурета по его сторонам.

За столом сидел человек. Он читал газету, и когда за Поздняковым закрылась дверь, отложил газету и повернулся. Иван Андреевич сразу узнал его по характерному жесту — указательным пальцем правой руки поправил глядевший на него Иван Алексеевич Сажин очки на переносице. Это был, безусловно, он. Постаревший, похудевший, с совсем реденькими и седыми волосами...

— Здравствуйте, Иван Сергеевич.

— Здравствуйте, Иван Алексеевич.

— Вы же ещё тогда, Иван Сергеевич, поняли, что это за люди, когда из города в глушь попросились. Уже тогда не жестокий царский режим, — усмешка чувствовалась в глухом голосе Сажина, — а вот эти же самые люди вас на Красный Берег сослали.

— Я не знал, что они победят. Я был не с ними тогда... А потом... Да... Не будем об этом...

— Собственно, ваша история мне известна, человек вы публичный. Если хотите — свою историю расскажу.

— Расскажите.

Уже вторые сутки никого из них не вызывали на допрос. Конвоир исправно передавал пищу, забирал посуду, и ни слова... Им даже не запрещали лежать целыми днями на койках.

И Сажин рассказывал неторопливо, подробно...

В тот день Аксютин говорил совсем не так, как раньше, когда встречались в неприметном домишке на окраине города. Хозяину дома платили какие-то деньги за то, чтобы одна из сдаваемых в наём трёх комнат всегда была свободна. Туда приходил, стараясь быть незамеченным, вечерами по пятницам Сажин, туда же с такими же, если не с большими, предосторожностями приходил поднадзорный Аксютин. Рассказывал новости из жизни ссыльных...

В этот день в здании бывшего жандармского управления он говорил требовательно, как член бюро городского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как представитель победившей новой власти...

— Нам необходимы все, подчёркиваю, все документы о тайной работе департамента среди ссыльных.

— То есть они необходимы лично вам, господин Аксютин? — съязвил Сажин.

— Они небезынтересны и некоторым другим товарищам, как я понимаю... Будем откровенны — моя фамилия не должна всплыть. Я вёл двойную игру — обманывал вас, но я не смогу это доказать...

— Конечно, не сможете...

— Не стройте из себя героя, Сажин. Я могу расстрелять вас в любой момент... Не забывайте также о жене и ребёнке.

Иван Алексеевич понимал, что звать к совести этого человека бесполезно.

— Какие гарантии?..

— Вас не тронут. И всё же лучше, если вы покинете город.

— Так вот вам моё слово: ни один документ не вышел за пределы этого здания, а оно в ваших руках. Фамилии осведомителей нигде не фигурировали — только клички...

Через день Сажина покинули уездный город, переехали в губернский. Поселились у Мариновых — они пока ещё спокойно жили в своём доме.

— Иван, ты со мной или нет? — спрашивал Константин Дмитриевич Маринов. — Сейчас там, на юге, решается судьба России, долг русского офицера...

— А тебе не кажется, Константин, что время упущено?

— Как бы то ни было, лучше погибнуть с оружием в руках! Впрочем, я уверен в победе белого движения.

— Знаешь, Костя, а я не уверен. — Иван Сажин вспомнил сейчас разговор с отцом Николаем из Воздвиженья... — Я не уверен. Потому что все мы — клятвопреступники. Все мы нарушили присягу, данную когда-то...

— Император Николай отрёкся от престола...

— Точнее, его вынудили отречься. Ведь так? Как раз Корнилов и иже с ним...

— Всё это болтовня — Россия гибнет, Иван...

— Нет, Костя. Кто сейчас идёт в Добровольческую армию? Вот такие, как мы, — офицеры, не сумевшие удержать власть, когда она была в наших руках, студентики-романтики, недоучившиеся гимназисты... А у красных? Крестьянская Русь встала за них. В считанные месяцы создали огромную и боеспособную армию. Это не может быть случайностью. Народ с ними сейчас. А народ победить невозможно. Тем более — наш народ...

— Вот такие болтуны и... — Константин Дмитриевич резко отвернулся от окна, выходящего в ярко-зелёный, в белом мареве цвета весенний сад, на его красивом лице жёстко выступили желваки...

Дверь в библиотеку распахнулась, влетел запыхавшийся, в распахнутой на груди рубашке сын Константина, Серёжа:

— Папа, Катя опять дразнится, скажи ей!..

— На сестру жалуешься! Стыдно...

Константин Сергеевич резко взял сына за руку и вышел. Заметно было, как он сдержался, чтобы не хлопнуть дверью.

Через три дня Константин Сергеевич Маринов, не простившись с Иваном Алексеевичем и его женой, уехал из дома, из города. Навсегда...

Через неделю явились из местного Совета с орденом на “уплотнение”. Обе семьи — Ольгу с двумя детьми, Ивана Алексеевича и Ирину с полуторагодовалым сыном — поселили в двух комнатах на первом этаже дома, рядом с кухней. По лестницам и коридорам дома Мариновых затопали ноги новых хозяев.

Обе сестры — Ирина и Ольга — устроились работать в госпиталь. За детьми осталась присматривать старая няня. Иван Алексеевич со дня на день ждал ареста, задушив в себе гордость, продавал на рынке кое-что из семейных вещей, читал книги из библиотеки Константина Маринова, перенесённые в их комнату.

“А может, лучше было уйти с Константином? Ведь и такая жизнь — предательство самого себя. Или попытаться уехать? Всем. За границу...” Мысли эти ничем не заканчивались. И хорошо ещё, что жена не корила...

В том же восемнадцатом году жена и сын умерли от тифа, которым она заразилась в госпитале. Сам он тяжело переболел. Волосы выпали тогда, да так толком и не отросли. Ирину, работавшую в том же госпитале, тиф миновал. Она ничего не говорила Ивану, но, кажется, получила какое-то известие с юга. О муже. Сажин понял, что Константин погиб. Да и не могло быть иначе... Вскоре Ирина пошла работать в школу, учительницей. Там же учились и её дети.

И ещё были у Сажина дни отчаяния и сомнений... В тот день — серый, дождливый — он долго ходил по городу, сам себя убеждая, что бесцельно, а пришёл всё же на окраинное старое кладбище, миновал церковь, шёл по засыпанной мокрой листвой дорожке мимо могильных памятников и крестов

в тот дальний кладбищенский угол, где тесно и торопливо похоронены были в прошлом году умершие от тифа. Стоял у могил жены и сына под единым деревянным серым крестом... Он простался, ибо не знал, не находил, для чего жить дальше. И вся прежняя жизнь казалась пустой, ненужной чередой уступок и самообмана... На нём была бесформенная шляпа с намокшими полями, длиннополое пальто, калоши на старых ботинках испачканы рыжей глиной... Стёкла очков были мокрыми, и протереть их было нечем, и всё через них виделось ещё более мокрым, мутным, серым... Он будто увидел себя со стороны и сам себе стал противен.

Левый карман пальто тяжело оттягивал заряженный револьвер, который он зачем-то взял с собой сегодня. Сунул руку в карман, холодный от стали... Нет, не здесь... Правой рукой зачем-то тронул грудь и пошёл прочь.

Из церкви — безголосой, осиротевшей без колоколов (их сняли недавно по указанию местного Совета), — выходили люди. В основном, женщины — одинаковые в тёмной одежде, безмолвные. У входа стоял нищий — страшный, в мокрой рваной одежде, зябко выставив скрюченную ладонку с одинокой тусклой монеткой... Сажин снова сунул руку в карман, но там был лишь револьвер, бесполезный сейчас. Торопливо пошёл от церкви, с кладбища.

— Здравствуйте, Иван Алексеевич, — услышал женский голос за правым плечом, обернулся.

Елизавета Алексеевна Зуева шла чуть позади него.

— Здравствуйте... И вы здесь, — растерянно пробормотал Сажин.

— И я здесь. Как вы живёте, что с вами?..

Странно: раньше, когда приезжал в их имение, Елизавета Алексеевна всегда избегала разговоров с ним...

Они шли в сторону центра города. Сажин предложил, и она не отказалась — взяла его под руку. Шли, старательно обходя лужи...

— По предложению Совета я возглавляю комиссию по сохранению книжного наследия, формируем уездную библиотеку. Нам нужны сотрудники. Я приглашаю вас...

В тот вечер Иван Сажин бросил револьвер в старый, зарастающий тиной пруд, а на следующий день был зачислен сотрудником в комиссию, возглавляемую Елизаветой Алексеевной.

Первая большая поездка была предпринята в родное для неё и хорошо знакомое Сажину село Воздвиженье. Успели спасти большую часть зувеской библиотеки. И потом два года ездили по дворянским усадьбам губернии — спасали книги. Кое-что удалось спасти и из монастырских библиотек. Вот из тех книг и сложился первоначальный фонд Советской народной губернской библиотеки...

— И она стала вашей женой, — сказал, будто и не спрашивая, а утверждая, Поздняков.

— Да, мы поженились.

Иван Алексеевич Сажин понимал, что Елизавета Алексеевна не любит его, никогда не забудет своего жениха Дмитрия Ковалёва.

Она в восемнадцатом, следом за братом и женихом, потеряла отца и мать, потеряла свой дом, привычный мир, уклад, — казалось, всё рухнуло. И только книги, что остались в усадьбе (осенью семнадцатого Зуевы переехали на постоянное жительство в свой городской дом), оставались душевной ниточкой в тот, прошлый, родной мир. Она сама и предложила идею создания Советской библиотеки, понимая, что без помощи власти не спасти родовых книг. А потом и втянулась в эту работу. И Сажин, который так не нравился ей раньше, неожиданно стал главным помощником. А схожее горе потери близких сблизило их. Детей у них не было, а жили тихо и дружно в комнате большой коммунальной квартиры в бывшем доме Зуевых на одной из центральных улиц губернского города...

— Лиза и сейчас возглавляет отдел редкой книги в библиотеке. И я там работал. Несколько лет назад создали мы (а точнее, восстановили) со старыми и новыми товарищами Общество изучения истории и культуры.

— Да. Помню, ставил разрешительную резолюцию на бумаге, — откликнулся Поздняков.

— Ну, вот и посодействовали созданию монархической организации! — будто бы обрадовавшись, воскликнул Сажин.

— Ну, хоть буду знать... — тоже усмехнулся Поздняков.

Еще три дня находились они в одной камере: бывший жандармский офицер, самодеятельный историк-лингвист Иван Алексеевич Сажин и бывший профессиональный революционер-большевик, секретарь губернского комитета партии Иван Андреевич Поздняков (Потапенко).

Сначала увели, думалось, что на допрос, Сажина, но он так и не вернулся в камеру-келью. Потом пришла очередь и Позднякова... Дальнейшая судьба их неизвестна...

В 1964 году Елизавета Алексеевна Зуева-Сажина получила официальное уведомление о том, что муж её умер от острой сердечной недостаточности во время этапирования к месту отбывания наказания и полностью реабилитирован ввиду отсутствия состава преступления.

Иван Андреевич Поздняков (Потапенко) был реабилитирован в годы гласности и перестройки. О нём как честном ленинце и жертве сталинских репрессий писал в местной прессе историк Александр Васильевич Игнатъев. Были даже предложения назвать именем Позднякова одну из улиц города, но время ускорило — и “честные ленинцы” вновь вышли из моды, улицам стали возвращать дореволюционные названия... Впрочем, улица Аксютица благополучно сохранила своё название, а улицу Саблера переименовали в Козлёнскую...

Глава девятая

1

В жарком, бледном, как застиранный ситец, небе, кружил коршун: делал взмах и, распластав крылья в горячем воздухе, плыл, высматривая добычу...

По дороге, белой ниткой простегнувшей зелёное полотно степи, поднимая клубы пыли, быстро катил автомобиль...

Командир пехотного полка Соловьёв держал на коленях развёрнутую карту и говорил своему водителю, сержанту Василию Игнатъеву:

— Должен быть хутор, перекрёсток дорог...

— Должен, так будет, одна же дорога! — с нескрываемым неудовольствием отвечал Игнатъев. Ему надоел этот постоянно недовольный тон командира — будто бы он, Игнатъев, в чём-то виноват... А его дело простое, солдатское, шофёрское: крути баранку да следи, чтобы машина в исправности была. Этим, в основном, и последние два года перед войной занимался, в колхозе...

Минут через пять что-то замаячило тёмным пятнышком впереди, и уже вскоре стали видны кроны деревьев и сначала одна, потом две, три соломенные крыши.

Соловьёв поглядел в бинокль.

— Никого вроде... Давай, Игнатъев, но быстро...

“Журавль” торчал на колодце, вздёрнутый к небу, на перекрёстке двух степных дорог. Василий остановил машину в тени тополя у плетня, прихватил ведро и пошёл за водой. Хаты явно пустовали...

Соловьёв тоже вышел размять ноги, третий час в машине — срочный вызов в штаб дивизии... Это отступление по донским степям, почти уже бегство измотало всех и физически, и морально. Лето и осень сорок первого (а полк Соловьёва вступил в бой на третий день войны) помнились бесконечными боями: оборона, отход, оборона, атака при выходе из окружения, отход и снова атака, — и тоже было чувство какого-то отупения, будто превратился в машину для войны... И сейчас, летом сорок второго, после того как удалось всё же дать немцам по зубам под Москвой, снова приходится “драпать”. Именно приходится, потому что любая попытка закрепиться на рубеже заканчивается тем, что отходит, то есть опять же “драпает”, сосед

слева или справа, и нависает угроза окружения. Что такое окружение, “мешок”, бойцы с лихвой извели в сорок первом, одно это слово срывает целые роты и полки и заставляет панически бежать... Зачем вызвали в штаб, Соловьёв не знал и особенно нервничал потому, что в такой обстановке за просто можно было и не найти потом свой полк...

Василий Игнатьев почти подошёл к колодцу, когда неподвижно торчавший к небу колодезный журавль вдруг начал опускаться... И уходить было поздно и стыдно, и стоять на месте глупо, и Соловьёва звать нелепо, и оружия — никакого... А журавль уже снова задирал шею к небу — немец выбирал ведро из колодца... Был он, как и Василий, немолодой, с морщинистым, как стиральная доска, выпуклым лбом, в туго обтягивающей голову пилотке, рукава кителя закатаны по локоть... Он смотрел на Игнатьева, и в его серых глазах была и растерянность и вопрос. И Василий ответил ему таким же взглядом... Немец подхватил ведро и, не оглядываясь, зашпешил вдоль плетня, свернул, стал невидим... “А если их там много? Если сейчас скажет своим?..” Игнатьев отставил ведро, быстро добежал до того места, где свернул немец, выглянул осторожно. Там стояла серая от пыли легковая машина, в которой сидел офицер в высокой фуражке. Он что-то сказал водителю, заливавшему воду в радиатор, тот что-то ответил, захлопнул капот, сел, и машина, фыркнув, развернулась и покатила в сторону от хутора... Василий набрал воды, вернулся к своей машине.

— Чего долго так? — спросил недовольно Соловьёв.

Игнатьев не ответил, молча пожал плечами...

К вечеру были в станции с красивым названием Счастливая, забитой разномастными войсками. Нашли штаб, разместившийся в бывшем станичном Доме культуры. Крашенные серебряной краской статуи колхозницы в косынке, с ведром в руке и колхозника в кепке и спецовке, установленные на широком крыльце, говорили о богатой жизни в здешнем колхозе...

— Поищи пока квартиру и через час подъезжай сюда, — сказал Соловьёв Игнатьеву, поправил фуражку, одёрнул гимнастёрку и шагнул на штабное крыльцо.

Василий направил машину по центральной станичной улице. Ветви яблонь в садах гнулись от плодов, хаты — чисто белёные, с откинутыми зелёными, в ярких розанах наличниками... Всё это разительно отличалось от родной северной Ивановки. Дворы забиты солдатами — нечего и думать тут свободную хату найти. Да хоть бы куда-нибудь приткнуться...

Нашёл на дальней окраине осевшую окнами чуть не до земли хату, крытую серой соломой. Хозяйка показалась сначала Василию старой из-за низко сдвинутого на глаза платка, но при близком знакомстве оказалась ещё молодой бабой.

— Нам только переночевать, да мы и расплатимся...

— Ночуйте, — сказала. — Гришка, в хату! — крикнула она мальчонке, копошащемуся в пыли.

Белобрысый мальчуган лет трёх, беззубо улыбаясь, ткнул пальцем в Василия:

— Тятя! — и у Игнатьева сдавило сердце: такой же сын остался у него дома.

— Подожди-ка, — сунулся в машину под сиденье, порылся в вещмешке и выдал терпеливо ожидавшемуся карапузу кусок сахара. Тот взял белый кусочек, не понимая, видно, что это, на ладошке подержал.

— Благодарствуйте, — мать сахар взяла и ребёнка на руки подхватила, в хату пошла.

Игнатьев достал мешок и тоже в хату шагнул, низко согнувшись перед дверью.

В красном углу — икона, рушником вышитым оправленная, под иконой стол — пустой и, видимо, недавно крашенный яркой коричневой краской.

— На-ка, хозяйка, не обессудь, приготовь нам чего-нибудь, да и себе оставь, — он выложил на стол продукты.

— Благодарствуйте.

— Ну, так я за начальником поехал...

Молча кивнула в ответ.

“Ну и молчунья, слова не скажет...” — подивился Василий на хозяйку. Поехал к штабу.

Соловьёв уже ждал у крыльца, нервно курил. Выходили во двор и другие офицеры, тоже по машинам рассаживались.

— Может, к нам, Борис Анатольевич? — спросил кто-то у Соловьёва.

— Нет. Ночь перекантуюсь — и к своим. Попытаюсь поспать сегодня, — ответил раздражённо Соловьёв. — Ну, что так долго, — недовольно бросил Игнатьеву.

— Искал квартиру, забито всё, — спокойно ответил Игнатьев. Но Соловьёв, видно, и не ждал ответа, ничего больше не сказал.

Подъехали к хате. Вошли. Стол уже был накрыт.

— Спасибо, хозяйка. Садись и ты с нами, — пригласил Соловьёв, усаживаясь за стол.

— Благодарствую. Мы потом. Кушайте на здоровье.

Под сон отвела им какой-то закуток, наподобие горенки.

Василий сразу решил:

— Ну, я во дворе устроюсь, поближе к машине...

— Давай, а я тут, — охотно согласился начальник. Его уже необоримо тянуло в сон. Да и кровать в закутке лишь одна стояла.

— Я в сарае устроюсь. Не против? — спросил, входя снова в избу, Василий.

Женщина лежала на кровати, а за ней, у стены, усыпал, видать, малыш. Она поспешно обернулась на слова постояльца, поднесла палец к губам, кивнула согласно. И Василий, стараясь не скрипнуть дверью, вышел во двор.

Сарайчик этот он ещё днём приглядел. Царил в нём устойчивый скотный дух и сырой запах куриного помёта, но и следа живности, кроме этого запаха, не было: плотноубитый земляной пол, оконце в две ладошки в боковой стенке да куча старой соломы в углу. На соломе и устроился Василий. Вытянулся наконец-то во весь свой немалый рост. Сразу почувствовал, как устал за этот день, а может, и за многие предыдущие военные дни.

В станице, там, за стеной побрехивали собаки, слышались голоса... Потом тишина накрыла мир.

Скрипнула дверь, мелькнула в свете луны фигура, и снова темнота. И в темноте женщина села рядом с ним. И сон как откинуло. Василий чувствовал её рядом с собой.

— Как зовут-то тебя? — с трудом, шёпотом протолкнул он слова.

— Галя.

— А меня Василий... Ты чего?.. — коснулся рукой её бедра. И она сразу подалась к нему, легла... И он лежал и молчал, и не двигался больше...

— Брезгуешь? — спросила.

— Не могу я... — сдавленно сказал он.

И Галя опять припала к нему... И он уже не соображал — жена ли, нет ли, всё едино стало...

И потом уже лежали — её голова на его руке. Василий спросил:

— Где муж-то твой, Галя?

— Убили.

— Немцы?

— Наши. Колхозным председателем он был здесь. В сороковом взяли... Конфисковали всё, по миру нас пустили, дочка померла, с мальцом я одна осталась...

Он не спрашивал больше, только обнял её, будто стараясь согреть. Но Галя вдруг резко оттолкнула его, села.

— Пойду я. Спасибо тебе, Вася. Прости меня.

— Да что ты... Не уходи...

Но она поднялась, ушла. И Василий Игнатьев не пытался её удержать...

— Подъём, сержант! — Громкий голос раздался от широко распахнутой двери. — Заводи мотор. Ехать надо.

Игнатьев вскочил, стряхивая сон. Сунулся было в хату...

— Давай, давай, Игнатьев, заводи, некогда нам...

Галина вышла на порог, мальчишка жался к её ногам.

— Не забуду, — тихо и коротко сказал Василий.

Молча ответила она ему полупоклоном.

И километра не отъехали от станицы, как услышали грохот впереди и увидели клубы дыма...

Из гнавшей навстречу полуторки крикнул какой-то белообрый пучеглазый боец:

— Немцы! Танки!

И уже валом катились солдаты и техника, отступавшие к станице.

— Стоять! — заорал вдруг, выхватывая пистолет, Соловьёв. Увидел брошенную у дороги “сорокопятку”: — Гони туда, — скомандовал Игнатьеву.

Выпрыгнул из машины, каким-то чудом вытащил из бегущей толпы командира артиллерийского расчёта.

Первый же надвигающийся по дороге танк встретили прямой наводкой...

Со стороны станицы послышался треск пулемёта, винтовочная стрельба, только что бежавшие в панике люди возвращались, занимали оборону. Ещё три орудия ударили по танкам, обходившим станицу с флангов...

Всё же успели эвакуировать госпиталь и штаб...

Василий Игнатьев выпустил всю обойму из трофейного автомата в набегавшую вражескую пехоту. Видел, как мёртво ткнулись в траву двое немцев, — и знал точно, что это он их убил. Но немцы шли и шли. Василий откинул автомат с пустым магазином, выхватил гранату из подсумка, но не успел выдернуть чеку — немецкий автоматчик почему-то не стрелял, а бежал на него, Игнатьев с размаху и двинул ему гранатой в лицо, немец рухнул, как мёртвый. Василий выдернул чеку, бросил гранату и сам повалился рядом с немцем, взял его автомат, но магазин был пустой (вот почему он не стрелял)... Он видел, что красноармейцы отходят, и тоже, пригнувшись, безоружный, побежал за ними...

В том бою за станицу Счастливая с неожиданно прорвавшейся танковой, усиленной пехотой группировкой немцев погиб командир полка Соловьёв, погибли многие, тяжело был ранен командир дивизии, и уже при отступлении из станицы осколком бомбы (с полудня немцы подключили и авиацию) ранен был и Василий Игнатьев.

2

— В первый раз трудно убивать, а потом... Да нет, и потом трудно, — попыхивая сигареткой, говорил невысокий крепкий, с коротко стриженной, бургистой и от того похожей на картофелину головой парень в маловатом для него синем госпитальном халате. — Из автомата очередь дашь или там гранатой — не всегда и видишь, задел кого или нет, а ножом... Они обычно вдвоём стоят — одного режем, другого берём...

Сидели они — сержант Петров и рядовой Игнатьев — в госпитальном дворике, грелись на нежарком октябрьском солнышке. Оба выздоравливающие, оба думающие о дальнейшей службе.

— Нет, я только в разведку, чем в цепи под пулемёты-то. Давай и ты, как придет покупатель, просись со мной. Водилы везде нужны...

— К своим бы хотелось...

— Какие там свои, найдёшь там своих, такая мясорубка...

Василий Игнатьев уже второй месяц был в госпитале. Левая рука, в которую выше локтя и угодил осколок, сгибалась-разгибалась уже почти безболезненно. Он постоянно разрабатывал её, первое время после операции, скрипя зубами, сжимал пальцы в кулак правой рукой, тянул кисть левой к плечу...

...Вечером в каптёрке выпивали, пуская кружку по кругу, человек пять. Каптенармус, старшина лет пятидесяти, вспоминал гражданскую, Перекоп...

— Сейчас, батя, другая война, совсем другая, — перебивал его Сашка Петров.

— Какая другая! Солдат он всегда солдат, мне, что ли, вам рассказывать... Давайте-ка по глотку ещё и отбой.

— Война моторов! — гнул своё Петров.

— Я одному как влил — и винтовка надвое, тут он и лёг, второго кулаком зашиб, — не к месту бубнил своё захмелевший Богатырёв, и сам фигурой, двухметровым ростом, размахом плеч являя собой живой образ богатыря, только что без бороды...

— Это да, да, кому доводилось на гулянках махаться, тот и в рукопашной не сплхует, — подтверждал ещё кто-то.

— Вот и я говорю, — вставлял своё слово каптёр.

Кто первый предложил померяться силёнкой, потом и не вспомнили, а сам предложивший, конечно, не признался...

Начали на руках бороться.

Сперва Богатырёв легко трюх победил, впечатал их руки в столешню.

— Ну, давай! — не выдержал вдруг Василий Игнатьев. Он хоть и не такой крепкий с виду, как Богатырёв, а ростом немного ему уступал, да и жилистый, и сам за собой силёнку знал.

Установили правые локти на стол, пальцы большие в замок сцепили, левыми руками за край стола ухватились. Сашка Петров сверху их руки ладонью накрыл:

— Локти не отрывать! По моей команде начинаем... Начали, — и руку отдернул.

Василий сразу понял, что зря он бороться вызвался. Хотя тягались правыми, но боль сразу отозвалась и в левой, холодный пот на лбу выступил. И всё же не дал Богатырёву смаху кисть переломить. На какое-то мгновение руки их застыли, они будто бы и не боролись, и только побелевшие пальцы и затвердевшие лица их выдавали крайнее напряжение. И первой дрогнула богатырская рука, качнулась вниз. Сразу же и выправилась. Но Игнатьев уже знал, что победит...

— Ну, это он устал уже! — утешая побеждённого Богатырёва, хлопая его по широкой спине, посмеивался Петров. — Давай-ка со мной!

Василий, только что одолевший Богатырёва, с усмешкой глянул на Сашку — хоть он и разведчик, хоть и крепкий парень, а мелковат по сравнению с ним-то, Василием Игнатьевым. И боль в левой руке уже не чувствовалась, и азарт победителя подзуживал.

— Ну, давай, давай...

Сцепились. И ведь каким-то вывертом мгновенным Петров кисть Василия переломил, за ней и вся рука к столу стала клониться. Но Игнатьев собрался, как рычагом потянул руку противника вверх, и уже прошли их будто спаявшиеся кисти верхнюю точку, и рука сержанта медленно клонилась к столу...

— Комендант идёт! — влетел в каптёрку дневальный — мальчишка лет восемнадцати с подвязанной правой рукой.

— Отбой, черти! — зло рявкнул "батя"-каптёр.

— Завтра продолжим, — шепнул, накрываясь одеялом, Петров.

— Запросто! — откликнулся Игнатьев.

Оба они, да и остальные посидельщики, лежали в кроватях, не скинув даже халатов, моля Бога, чтобы комендант госпиталя капитан Харитонов не пошёл с осмотром по палатам.

Голос докладывавшего дневального раздавался от входной двери. Батя, заперев дверь в каптёрку, убрал со стола остатки пиришества и закрутив керосинку, тише мыши сидел в своей кандейке...

— Это ерунда всё, борьба на руках, там... Конечно, ты бы победил. Но в схватке-то сила не главное. Вот смотри... Бей меня, — они были на травяной лужайке за госпиталем, тут же покуривали и другие выздоравливавшие. — Бей, не бойся! — Василий махнул правой рукой, которую тут же и перехватил Петров, резко дернул, подвернулся спиной под Василия, и тот, перелетев через Сашку, растянулся на траве во весь рост. Петров мгновенно придавил шею Игнатьева коленом и начал закручивать руку, заставляя Василия поворачиваться лицом к земле.

— Да легче ты! И без правой оставишь! — не сдерживаясь, закричал Василий.

— Ловко!.. Молодец!.. Покажи ещё! — их обступили все, видевшие эффектный приём.

Сашка стал показывать: просил ударить и прямо в лицо, и сбоку, и сверху, и ногой в живот, и захватить его руками сзади, и неизменно валил с ног противника, оказывался сверху, обозначал короткий удар кулаком или локтем, заламывал руки за спину.

— Это тебя в твоей разведке, что ли, научили?

— Нет. Некогда там уже учить... Я до войны в спортивной секции занимался — борьба вольного стиля. Тренер мой — Конопаткин, а он у самого Ощепкова занимался!

— Что ещё за Ощепков?..

— Он в самой Японии джиу-джитсу учился! — ответил Петров и добавил уже не слишком уверенно: — Его сам Ворошилов туда отправлял.

А вечером опять сидели в каптёрке, и Сашка, наигрывая несложный мотивчик на гитаре, пел, то и дело поглядывая наловатыми зенками на санитарку Машу. И она уже глаз с него не сводила...

*Дул холодный порывистый ветер,
И во фляжке замёрзла вода,
Эту встречу и тот зимний вечер
Не забыть ни за что, никогда...*

Глаза Петрова подёрнулись влажной поволокой, будто и вправду вспоминал он какую-то встречу...

*Был я ранен, и капля за каплей
Кровь горячая стыла в снегу.
Немцы близко, но силы иссякли,
И не страшен я больше врагу...*

Отчаяние от бессилия выражал сдержанный голос Сашки. Вообще он не просто пел, а изображал события в песне, как настоящий артист...

*Мне столетьем казалась минута...
Шёл по-прежнему яростный бой.
Медсестра, дорогая Анюта,
Подползла, прошептала: “Живой!
Оглянись, погляди на Анюту,
Докажи, что ты парень — герой,
Не сдавайся ты смертушке люттой,
Посмеёмся над нею с тобой!”*

Медсестра Маша аж губку прикусила... А голос Сашки Петрова стал вдруг твёрдым, пружинистым:

*И взвалила на девичьи плечи...
И во фляге согрелась вода...
Эту встречу и тот зимний вечер
Не забыть ни за что, никогда!..*

— Ну, молодец, Сашка!..

— Дай слова списать...

— Откуда такая песня?..

— Ещё давай!

Сашка скромно улыбнулся, даже что-то вроде поклона изобразил, одновременно и Маше подмигнув:

— Концерт окончен, товарищи бойцы! — картинно проговорил он.

Когда Петров вернулся в палату и лёг в свою кровать, Василий так и не заметил, уснул. А утром тот просыпаться не хотел долго, только перед обходом врача встал.

— Эх, хороша Маша! — блаженно потянулся Петров.
— Да не наша! — добавил кто-то, видно, желая его поддеть.
— Наша, ещё как наша, — спокойно ответил Петров.
— Слушай, а где теперь твой тренер Конопаткин? — уже после завтрака спрашивал Петрова Василий Игнатьев, вспоминая вчерашнее показательное выступление разведчика.
— Слышал, что погиб он в октябре сорок первого, под Москвой.
— А Ощепкин этот?
— Ощепков, — поправил Петров. Помолчал. И сказал, понизив голос:
— Взяли его, в тридцать седьмом.
Василий понимающе кивнул...

Через неделю приехал в госпиталь “покупатель”. Петров и Игнатьев напросились вместе в разведбат.

И уже вскоре оказались в подразделении пехотного полка на берегу реки Воронеж, другой берег которой занимали немецкие части.

3

...Немцев в посёлке не должно было быть. И всё же, въезжая по центральной улице на санях, запряженных лощёным жеребчиком, гордостью и любовью всего разведбата, четверо разведчиков во главе с лейтенантом Карелиным спешили, сдвинули предохранители автоматов ППШ. Василий Игнатьев, оставшийся в санях, сдерживал Красавчика, не давал разбежаться...

Из шоферов ему пришлось “переквалифицироваться в кучера”, как посмеивался Сашка Петров, да и остальные разведчики. А Василий не обижался и не жалел, что так вышло, умел он и с лошадьми обращаться...

Дома стояли пустые, с чёрными, мёртвыми проёмами окон. Не видно жителей. Не было даже и собак. Тишина страшная. Вышли по улице на площадь. Здесь стоял один каменный дом, вся площадь усеяна была какими-то бумагами, засыпана конскими катышами...

— А ведь, кажется, есть кто-то там, товарищ лейтенант, — подал голос Петров. Василий вожжи натянул, останавливая жеребца... Из окна каменного дома ударила пулёмная очередь. И началось! Изо всех домов — обычных деревенских изб — ударили по ним из автоматов.

— Поворачивай! — кричал Карелин, влепяя очередь в окно дома. Остальные разведчики тоже, падая и перекатываясь, укрывшись кто за столбом, кто за сугробом, отвечали на вспышки из окон.

Василий, стараясь не перепутать вожжи, заворачивал жеребца. И только ждал — вот сейчас, вот эта моя. Но, как ни странно, ни одна пуля не задела ни его, ни жеребца. Что-то ударило в левую бровь, и теплая струйка потекла на глаз. Но Игнатьев сразу понял — не смертельно, развернул сани:

— Прыгайте!

Бойцы, продолжая отстреливаться, валились в сани.

— Ходу! — крикнул кто-то из них. И Василий уж погнало было Красавчика, но чуть оглянувшись, увидел правым глазом (в левом совсем стало темно), как кульком, лицом вперёд, выпал с задка саней лейтенант. За ним спрыгнул Сашка Петров, крикнул:

— Прикройте!

Василий снова стал сдерживать жеребца, но всё же тот ещё пробежал метров двадцать... Петров откинул пустой диск (вставлять новый было некогда), склонился над лейтенантом, ухватил за ворот шинели, потащил. Остальные разведчики не прекращали огонь, прикрывая товарищей. Василий увидел, как сбоку из какого-то двора набегает группа немцев, схватил лежащую на дне саней в соломе гранату, выдрал чеку, бросил. Красавчик шарахнулся, но Василий успел сдержать его, бросил вторую гранату. Лейтенанта втащили в сани, за ним рухнул на солому и Петров. И тут уж Василий дал жеребцу полную прыть...

Кровь на глазу смёрзлась, и казалось, что глаза нет. И страшно вдруг заболела правая нога, где-то внизу. Глянул туда Василий, а в запятке валенка черная дыра...

— Отгулял Сашка-то наш. Наповал, — глухо сказал солдат Миронов, перевернув так и лежавшего ничком Петрова.

— Жив он, не может быть, — бросив вожжи, рванулся к другу Василий. Петров был мёртв. Громко стонал лейтенант Карелин, раненный, кажется, в живот.

И над истерзанной войною землёй, над чёрным от копоти пожаров снегом, над уставшими и затвердевшими в своей усталости людьми вставало розовое, будто умытое, солнце...

...В левую бровь впилась щепка, выбитая пулей из саней. Глаз не задело — ничего опасного, только шрам на брови остался, а вот пятку на правой ноге вырвало напрочь.

— Всё, браток, теперь домой, отвоевался, без тебя фрица добивать будем, — говорил сосед по госпитальной койке.

А Василий молчал, он почти совсем не говорил все три месяца, что лежал в госпитале. Будто что-то заклинило в душе.

Потом был долгий медленный поезд, забитый ехавшими куда-то людьми: женщинами с детьми, комиссованными, как и он, военными... Состав подолгу стоял на больших станциях и крохотных полустанках, пропуская эшелоны с техникой и войсками. По вагону ходили патрули, и Василию Игнатьеву по несколько раз в день приходилось доставать свои документы из кармана гимнастёрки, протягивать со своей верхней полки, куда удалось с трудом забраться и откуда он почти не слезал... Один раз он дремал и очнулся от страшной боли в ноге, будто снова пуля ударила и раздробила пятку.

Солдат из патруля тряс его за ногу:

— Документы, военный!

— Да что ж ты... — не сдержался Василий, резко развернулся и готов был врезать этому патрульному (его и так уже раздражали эти многочисленные патрули — там, на передке, каждый человек на счету, а эти тут в тылу...).

— Спокойно, солдат, спокойно, — с ухмылкой на холёном лице, осадил его начальник патруля, лейтенант. — Документики.

И вот от этого “документики” стало Василию совсем противно, до тошноты. Но сдержал себя, снова полез под шинель, в карман гимнастёрки...

4

Вокзал областного центра встретил Василия Игнатьева единой серо-зелёной толпой — солдаты в серых шинелях и выцветших гимнастёрках (был апрель и кто ещё одет был по-зимнему, а другие уже в летней форме), гражданские, женщины, подростки — тоже все в какой-то казавшейся одинаковой неяркой одежде...

И только когда шагнул со ступеньки вагона, огляделся — единая масса стала распадаться на отдельные фигуры и лица: опять патруль (прошли мимо, не глянув на него), женщина, менявшая варёную картошку из чугунка, завёрнутого в серый платок, на полбуханки солдатского хлеба. И солдат, что менялся с ней, нагловатый, с медалью “За отвагу” на груди, норовил прижаться к ней, приобнять... “Да убери пакши-то, лешой...” — не зло, по-деревенски говорила женщина... Паренёк в кепке и великоватом для него пи-джаке, скользнувший острым глазом по Игнатьеву и нырнувший зачем-то сразу под вагон... Безногий бородатый инвалид в зимней солдатской шапке без звёздочки и в обтрёпанной армейской телогрейке, на деревянной тележке ловко толкался дощечками с приделанными к ним рукоятками, катился вдоль перрона... “Табачок покупаем”, — прошёл совсем неприметный мужчина, и непонятно было, к кому он обращается, предлагает ли купить курево или сам покупает...

Прихрамывая, Василий вышел на привокзальную площадь.

Адрес он помнил, теперь вспоминал и дорогу к дому дяди Миши...

Тот, уехав в “год великого перелома” из Ивановки в город, сумел осесть в нём, работал сначала в частной сапожной мастерской выходца из Ивановки Алексея Семёновича Смирнова, потом мастерская стала государственной,

а Смирнов, по возрасту отойдя от дел, передал руководство производством Михаилу Игнатьеву... Две комнаты снимала их семья в доме того же самого Смирнова. Потом купили домик на окраине. Жена Михаила Игнатьева занималась хозяйством, сыновья бегали в школу. Дочь Александра, так и не дождавшись (а не долго и ждала!) своего деревенского жениха, вскоре вышла за секретаря парткома паровозоремонтного депо, где начинала работать простой уборщицей. Познакомились они в Доме культуры железнодорожников, и уже вскоре Александра жила у мужа в большой комнате в коммунальной квартире в центре города...

Василий бывал у них ещё до войны, когда ездил от колхоза “в область” принимать новую технику: трактор, конные косилки, плуги... Колхоз перед войной был богатым...

Думал невольно о судьбе дяди и его семьи — странные же были времена, в своей деревне были объявлены чуть ли не врагами народа, наверняка бы раскулачили и сослали их, а в городе — никаких претензий, поселились и жили...

От вокзала широкая улица Ленина вела в центр и дальше до противоположной окраины — это главная улица города, остальные улицы разбегаются от неё, рассыпаются переулками...

Василий отвёл кособокую калитку, вошёл во дворик. Дорожка из тёмных подгнивающих досок вела прямо к порогу невысокого домика, а на пороге сидел, сгорбившись и потому будто выставив вперед бурую лысину в обрамлении седых волосиков, прижатых ещё резинкой очков, дядя Миша. Он делал какую-то работу, как обычно, левой, неживой рукой лишь придерживая что-то... Ну, конечно же, подшивал какую-то маленькую, видимо, детскую, обувь и, продевая драпву в отверстие, наверняка слышал, что кто-то вошёл во двор, но не сразу поднял голову... Отложил сандальку, поднял лицо. Глаза за стеклами старых очков уже будто и не серые, а прозрачные... Василий, стараясь всё же меньше хромать, быстро подошёл к крыльцу, поднялся навстречу ему и отцов брат, опершись на перила. Обнялись.

— Здравствуй, божатка.

— Здорово, крестник, здорово... В отпуск или совсем?

— Теперь уж совсем, подчистую...

Сидели в небогатой небольшой комнатёнке, бутылка разведённого спирта (вёз Василий домой, да тут выставил) на столе, хлеб, кой-какая закуска, первые в этом году пёрышки лука.

— Скоро Санька должна придти, для внучки шлёпанец-то зашиваю... А так — один я, один...

— Муж-то у неё... — осторожно сказал Василий.

— На брони, на брони. А мои вот... — кивнул на фотокарточки сыновей на стене.

Василий знал, что оба они погибли. Жена из дома писала. Переписывался он только с Верой, с другой роднёй как-то не наладились письма...

— Помянем сынов моих! — сказал твёрдо Михаил Васильевич Игнатьев. Выпили, не чокаясь.

Помянули и жену дяди Миши, не пережившую похоронок...

Быстрые шаги на крыльце и в коридоре, скрип двери:

— Пап, привет! — деловито вошла Александра — совсем уже не похожая на Саньку городская дама. А всё же что-то девчоночье, лёгкое, что помнил в ней смутно Василий, осталось...

— Вася! — кинулась на шею ему, щекой к щеке прижалась.

— Здравствуй, Саша, здравствуй...

Не отказалась и стопку выпить.

— К нам-то пойдём, Вадим рад будет, да и девчонки дядю забыли совсем, — говорила Александра о муже и дочерях.

— Не знаю, надо как-то к дому ближе пробираться, — неуверенно отнекивался Василий, размлевший от выпивки, внимания, тихого домашнего покоя. — К Вере, к Сашке моему хочется... Польку повидать... — заговорил о своих близких и Василий.

Александра вдруг губу закусил, на отца с вопросом в глазах глянула.

— Так Полина-то... — начала она и запнулась. — Ты не знаешь, что ли? Папа?.. — на отца опять глянула.

Тут только и узнал Василий, что сестра его Полина Семёновна Игнатьева уже около месяца назад погибла при сплаве леса...

С письмом нерадостным запоздали, не застало оно в госпитале Василия...

Никуда он в тот вечер, конечно, уже не пошёл, ночевал (в тяжкий хмельной сон провалился) у дяди Миши.

На следующий день с машиной до райцентра помог Вадим, муж Александры. От райцентра до Жукова тоже попутка нашлась. Дальше пешком по знакомой родной дороге топал солдат Василий Игнатьев до Воздвиженья.

Он ещё издали услышал реку, но не понял, что это её звук. Не шум воды, не плеск вёсел — глухие удары... Выйдя на берег, увидел забитую чешуйчатými еловыми да сосновыми брёвнами родную реку.

Таким вот бревном и ударило сзади, с берега, стоявшую с багром в руках у воды глухую Полину...

Родная Ивановка горбатилась избами. Знал Василий, что быть ему снова председателем колхоза, — в райкоме сказали.

— Я уже был председателем. Да и отец мой тоже...

— Некогда нам, товарищ Игнатьев, обиды вспоминать, а надо план по зерну и лесу выполнять. Принимайте колхоз, — жёстко сказал первый секретарь райкома.

Глава десятая

1

Маринка и Мишка поднялись на утор. Полянка на вершине вся в траве и цветах. Мягкий скат к реке, тёмная бликующая вода, бескрестый купол над зелёными подушками крон кладбищенских деревьев и крыши на том берегу...

— Тихо, — Маринка прижала палец к губам, взяла Мишку за руку и подвела мимо берёзы с раздвоенным, в чёрных насечках стволом к краю поляны, в тень от огромной разлапистой сосны. Как в дом, вошли под её ветви.

Девочка подняла лицо вверх и указала рукой туда же:

— Смотри.

Мишка посмотрел. Большая круглоголовая птица с крючковатым клювом, с закрытыми глазами, сидела недвижимо, будто неживая. Мощные когти на мохнатых лапах обхватывали толстую ветвь сильно и надёжно...

— Филин.

— Да-а, — заворожённо выдохнул Мишка.

— Спит.

— Да-а...

— Побежали! — крикнула вдруг Маринка и, отпустив его руку, побежала через поляну вниз по склону. Косички её смешно торчали в стороны, пятнистое бело-зелёное платье сливалось с цветом травы и белых зонтиков каких-то цветов. Она бежала и уже будто летела под горку, и всё же запуталась в траве, упала и покатила. И Мишка за ней, за ней... И тоже упал, и покатился, и лёг рядом с ней, раскинув широко руки. Они лежали, и над ними были зелёные стебли травы, синее небо и белые пушистые облака...

Филин поднял голову, слепо раскрыл и сразу захлопнул круглые жёлтые глаза, чуть расправил и снова туго сложил крылья, переступил с лапы на лапу, щёлкнул клювом и затих, замер...

Маринка села, оправила платье, кивнула:

— А вон Марын камень. Он раньше на вершине этой горы стоял. Его там люди поставили. — И, помолчав, добавила: — Наверное, очень давно. Мне мама про этот камень рассказывала, а ей — бабушка...

— А зачем поставили? — спросил Мишка, он тоже сел, сорвал травинку и пощекотал шею девочки.

Она отмахнулась. Сказала строго:

— Не надо... Не знаю, зачем... Папа говорит, что, наверное, молились у него... Ещё раньше, когда церковей не было...

— А почему же он здесь теперь?

— Скинули. Пошли. — Маринка встала и пошла к воде, к огромному камню...

Мишка — за ней. С того берега от церкви по воде опять донёсся звук, который он уже знал.

— А там, — он махнул рукой, — человек, дядя Серёжа, церковь ремонтирует...

— Я знаю, он у нас был, да уплыл туда. Сказал, что там у него дело...

До камня было метра два по воде. Маринка, не снимая сандалий, только чуть подобрав подол платишка, шагнула в воду. Мишка — за ней, тоже не сняв старенькие кроссовки и даже не закатав штанин. Он первым влез на камень, подал руку и помог забраться девочке.

Они легли на камень и смотрели вниз, и было видно, как шевелятся водоросли, и песчинки, и крохотные, будто стеклянные капельки, мальки... А потом сидели, смотрели на реку, на зелёные берега и молчали...

Мишка впервые за свою десятилетнюю жизнь почувствовал время, ход его: "...Вот сейчас я думаю это, прошла секунда, и та мысль стала уже прошлым, и это мгновение уже прошло, и это... А куда же оно уходит-то — время? И откуда оно..."

Может, и Маринка что-то такое же себе думала, потому что сказала вдруг:

— Представляешь, все умрут — папа, мама, я, все...

— Ну, это когда ещё будет...

— Это будет...

— Ну, будет, — согласился Мишка. — Ты боишься, что ли?..

— Нет. Это я так. Просто.

Они не заметили, как почернело облако. Брызнул дождик. А солнце продолжало светить. И они, съехав с камня, бежали по мелкоте у берега, брызгались и визжали. А потом радуга соединила цветным мостом берега...

...Сергей Куликов сидел под деревом, смотрел на детей. Дождик мягко шелестел в вершине, не долетая до земли...

Смотрел он на ребятшек, на радугу... И вспоминалось детство. Мама, папа. И золотой солнечный дождик...

2

Александр Васильевич всю жизнь изучал и преподавал историю. Много прочитал, написал тоже немало... А сейчас, сидя на старом крыльце родного дома, подумал, что вот на истории их деревни Ивановки можно проследить всё развитие человечества...

Весь этот жизненный уклад, эти избы, архитектура которых тоже имеет тысячелетнюю историю, а эти поля, сейчас заросшие лесом и кустами, — тысячи лет его, Александра Игнатьева, предки выращивали на них лён, ячмень, овёс... А церковь на том берегу, и связанное с ней имя Николая Краснобережского — яркий пример борьбы язычества и православия в этих местах. И хотя православие победило, храм-то — на том берегу, а камень, хоть и скинутый с вершины, — на этом... Да ведь в одно время и камень столкнули, и храм закрыли и разорили... Доводилось уже в восьмидесятых, когда стали открываться архивы КГБ, Александру Васильевичу читать рукописное житие Николая Краснобережского, написанное последним настоятелем Воздвиженского храма отцом Николаем... А опубликованный в краеведческом альманахе в семидесятые годы рукописный дневник Николая Зуева (Елизавета Алексеевна показывала и саму рукопись, хранившуюся в отделе редкой книги) он рекомендовал своим студентам в качестве пособия по сельскому дворянскому быту первой половины девятнадцатого века... Доводилось ему листать и страницы дела о "Поповском восстании", рассекреченного уже в девяностые... И письма его деда с Первой мировой и деду отсюда в армию...

Вспомнилось и знакомство с Елизаветой Алексеевной Зуевой. Он, тогда младший научный сотрудник, заинтересовался существовавшим до семнадцатого года и возобновлённым в двадцатые годы Обществом любителей истории и археологии. Узнал, что одним из основателей его был муж Елизаветы Алексеевны — Иван Алексеевич Сажин.

В то время она уже не работала, была на пенсии. В библиотеке ему подсказали номер её домашнего телефона. Немного волнуясь, Александр Игнатьев позвонил.

Женский голос, ответивший ему, был чистый и твёрдый, казалось, что совсем и не старый, но это была она, Елизавета Алексеевна. Путаясь, Игнатьев объяснил цель звонка.

Она не сразу ответила, Александр даже подумал, что прервалась связь:

— Алло, алло...

— Да-да, извините, я думаю... Хорошо, приходите...

И назвала время и очень неожиданное место встречи...

Было весеннее воскресное утро. Он шёл к старому, давно закрытому для захоронений кладбищу, вернее, к церкви, единственной действующей на весь город, вокруг которой кладбище и располагалось.

Церковь была на самой окраине, почти за городом, но общественный транспорт туда не ходил, так что путь был неблизкий. Впрочем, Игнатьев шёл с удовольствием. Дорога большей частью вилась вдоль реки, с которой прилетал свежий ветерок, пахло молодой зеленью, а впереди, будто к нему и шёл по этой дороге, вставало удивительно чистое, розовое, радостное солнце... Вон и железные кладбищенские ворота в кирпичной арке, за ними — старые большие деревья в молодой листве, покрывающие ветвями все могилы и здание церковки с распахнутой настежь дверью, из которой выходят навстречу ему старушки, все удивительно похожие друг на друга: в белых платочках, с узелками в руках... “Да ведь Пасха сегодня, Пасха!” — осенило Александра Игнатьева. И даже стыдно ему стало: пусть и не верующий, но ведь историк. А про такой день забыл! Сразу за воротами — нищий старик, никогда и не видывал он таких в городе: в каком-то облезлом, с надорванным под мышкой рукавом пальто, в опорках непонятных, волосики на голове жиденькие, бесцветные, а борода сивая, спутанная, глаза к земле опущены:

— Христос воскрес! Дай Бог здоровья... Христос воскрес! Дай Бог здоровья, — хриплым голосом твердит нищий. И в шапку, когда-то, кажется, меховую, опускают старушки — кто яичко крашеное, кто денежку... Игнатьев сунул руку в карман плаща, нашёл какую-то мелочь...

— Здравствуйте. Вы Александр Игнатьев? — услышал за спиной. Торопливо, не глядя, положил деньги в нищенскую шапку. Обернулся.

— Да, я...

— Христос воскрес! — сказала высокая стройная женщина в косынке, совсем не идущей ни к её моложавому лицу, ни к фигуре, ни к пальто — немодному, но очень опрятному...

— Воистину... — неуверенно ответил Игнатьев. И она улыбнулась, сказала:

— Пойдёмте... — и пошла не за ворота, а мимо церкви по дорожке вглубь кладбища.

В самый дальний конец его зашли. Было здесь не ухожено, кусты шиповника беспорядочно разрослись. Над холмиками, почти сравнявшимися с землёй, кособоко стояли, а то и лежали деревянные пирамидки с заржавленными овальными номерками на них.

— Здесь хоронили умерших в тюрьме... Ну и, видимо, расстрелянных. Где-то здесь и Иван Алексеевич... А вон там, — указала чуть в сторону, на такие же полустёршиеся с земли холмики, но ещё под крестами, — хоронили умерших от тифа в восемнадцатом. Где-то там его первая жена и сын...

“Зачем она привела меня сюда?.. Зачем?..”

— Простите, но я подумала, что вам как историку нужно это знать. Когда-нибудь всё это станет предметом изучения. Пойдёмте.

Проходя мимо церкви, она остановилась и перекрестилась, поклонилась низко. Неожиданно перекрестился и Александр Васильевич Игнатьев.

Так и познакомились. Потом уж довелось и дома у неё побывать. Увидел и дневник Николая Зуева, и газетные, ещё дореволюционные публикации Ивана Сажина, и альманахи, издававшиеся Обществом любителей истории и археологии...

И почему-то сейчас, спустя тридцать с лишним лет, здесь, в родной деревне, на крыльце родового дома всё это вспомнилось, всё соединилось...

Лёгкий дождик прошуршал по крыше над крыльцом, освежил зелень травы и листвы, солнце отражалось в каждой капле. И на душе старика стало удивительно легко, хорошо... Вдруг что-то стукнуло его в руку, будто камушек откуда-то прилетел. Это был крупный, чёрный с блестящим отливом жук, он почему-то опустился на кисть руки Александра Васильевича Игнатьева, сначала замер, а потом пополз, преодолевая бугорки вен... И этот неожиданный жук внёс сначала какую-то сумятицу в только что обрадованную душу, а затем и чёткое ощущение: всё, что буду писать, будет и моим покаянием... Александр Васильевич не знал — почему, но точно знал, что именно жук принёс ему такую мысль.

А жук вдруг раздвинул створки надкрылий, развернул радужные крылья и улетел.

От реки шли Мишка и Маринка — мokrёшеньки. А по дороге со стороны моста ехала так необычно выглядящая здесь ярко-красная иностранная машина...

3

Андрей Игнатьев не стал долго ждать, и уже на следующий день вся семья (жена его тоже захотела поехать) отправилась в путь к далёкому и таинственному Красному Берегу — неизвестной родине Олега Игнатьева, в деревню Ивановку.

Выехав рано утром, уже к полудню были в областном центре, где к ним присоединились Игорь Игнатьев с женой...

...Ещё вчера Галина, жена Игоря, зло говорила:

— Ну, и где они, что с ними, ты можешь мне ответить?..

— Да ничего с ними не случилось, чего ты... Ну, вне зоны действия сети они, и что? Раньше вообще мобильных не было, и как-то жили, — убеждал жену, да и самого себя Игорь.

— Старика с ребёнком отпустил, что угодно может случиться... Нет, я не могу так...

— Ну, не можешь, бери отгулы, и поехали, хоть завтра! — уже злился Игорь. Он и сам уже волновался. Не смог отказать отцу — отпустил Мишку с ним, а теперь и правда думал: не случилось бы чего... — Не такой уж там глухой угол, — уже спокойнее говорил он. — Там этот фермер, Моторин, живёт, у него машина.

— Да хоть добрались ли они... Ой, не могу я, дак... — переживала жена.

— Ну, дак, поехали, правда. И сами хоть отдохнём там. Ты уж сто лет в Ивановке не бывала.

— Поехали! — согласилась Галина и стала названивать начальнице — договариваться об отгулах.

Игорь тоже позвонил своему напарнику, предупредил, что не будет его три дня.

А работал он тренером по самбо...

...Конечно, хотел, чтобы Мишка занимался, таскал его на тренировки, но особого желания сына к этим занятиям не видел. И относился к этому спокойно: если не хочет — заставлять бесполезно, а когда сам захочет — и заставлять не надо будет. Какие ещё годы-то — десять лет, успеет всему научиться. Он и сам только в тринадцать лет начал заниматься самбо, но успел и “мастера” выполнить, и вот — тренером работает. А если так и не появится в сыне желания заниматься самбо или другим спортом (а и к дру-

гим видам спорта особой тяги в сыне пока не видел), так, может, и не надо ему это.

Игорь бы тоже никаким самбо не занялся (был почти равнодушен к спорту, а любил лет с семи больше всего читать и книги почти без разбора глотал, благо — библиотека и дома была большая, и в школьную ходил), если бы не один рассказ деда Василия...

Тот вообще-то не любил рассказывать про войну... В то лето, Игорь перешёл тогда в шестой класс, в Ивановке неожиданно появились мальчишки — двое братьев-близнецов, внуки бабки Могуничей. Приехали почему-то в первый и последний раз из Воркуты, где работал их отец, сын бабки...

В тот день захотелось Игорю не у речки погулять, а сходить в лес, за деревню, где, говорили, по крайкам стали появляться подосиновики.

Ивановка уходила от реки вглубь берега двумя улицами и ещё тянулась рядом домов и бань вдоль реки... По своей улице, зелёной, заросшей полностью кашкой (лишь тропка вдоль домов серая, но тоже кое-где в пятнах подорожника), и бежал Игорь к лесу.

В конце улицы, уже за деревней, был скотный двор, рядом с ним ископанный загон для коров и пруд, в который заходили коровы на водопой.

Стадо сейчас паслось на лугу у леса. Пастух Антон, средних лет мужик, в брезентовом плаще и кепке-шестиклинке (несмотря на теплую погоду), сонно сидел на вислопузой лошадке и время от времени щёлкал кнутом, лениво матеря уходившую в сторону корову...

На противоположном от скотного двора, более-менее чистом, не так густо заваленном коровьими лепёхами берегу пруда и сидели двое одинаково рыжеватых мальчишек.

Ещё вчера вечером Игорь слышал от бабушки, что к Могуниче приехали внуки, и даже мечтал, как познакомится с мальчиками, подружится. Он и пошёл сразу к ним...

Он понял, что они делали, — готовились закинуть в пруд корзину. Сверху корзина была затянута марлей, в середине марли — дыра, в корзине — хлеб. Караси, заплыв в корзину, уже не смогут выплыть — нехитрый способ, о котором рассказывал Игорю дед.

— Здорово, — первым сказал один из мальчишек.

— Привет...

Братья степенно, по очереди пожали ему руку, звали их Вовка и Сашка. При этом были они так похожи, что Игорь тут же и забыл, кто из них Вовка, а кто — Сашка...

— Если без нас корзину проверишь — получишь, — сказал вдруг с угрозой, кажется, Сашка, и сам себе кулак в скулу упёр.

— Ага, — подтвердил, кажется, Вовка и щёлкнул кулаком правой руки по раскрытой ладони левой.

— Я и не собирался, — удивился Игорь такому повороту.

— А хочешь, сейчас тебя побьём? — опять первый спросил.

— Нет. Вы чего?..

— Ну, и вали отсюда, чего встал! — крикнул второй.

Игорю стало обидно, он считал себя деревенским старожилом, а эти только приехали...

— Где хочу, там и буду стоять! Сами валите!

— Чего? — оба пошли на него.

А Игорь не побежал. Ему бы и хотелось сейчас убежать. Но не бежал...

И братья остановились. И один поднял ссохшийся ком земли и бросил.

Обида была сильнее боли. Игорь сам на них бросился. И они побежали от него. А потом вдруг резко оба остановились, схватили Игоря за руки и свалили на землю...

Тут и подъехал пастух Антон:

— Я вот кнутом-то вас!

Все трое бросились в деревню. Рыжие братья — к своему недалёкому дому, а Игорь — к своему, через всю деревню. Бежал и слёзы обиды сглатывал.

Бабушка полола в огороде гряды, дед что-то поколачивал в дровнике, где у него что-то наподобие мастерской было... Игорь ушёл на повесть. Там в рас-

писанном аляповатыми цветами сундуке лежали старые журналы, книги, пачки перевязанных бечёвками писем...

Вечером уж дед-то и сказал — сидели они на крыльце, пока бабушка собирала в избе ужин:

— Мне Антон-то, пастух, рассказал. Молодец, Игоряшка, не побежал от них... Дак они вдвоём тебя и свалили?

Игорь кивнул.

Дед покачал осуждающе головой. Тогда-то и рассказал он внуку о разведчике Петрове, удивительно ловко владевшем приёмами “борьбы вольного стиля”.

— Он и мне показывал, да у меня не очень получалось. Да и не до приёмов там было — так, баловались...

— Борьба вольного стиля? — переспросил Игорь.

— Да, так Сашка Петров называл.

— Может, вольная борьба? Я такую по телеку смотрел.

— Может, и вольная, — согласно кивнул дед.

...Осенью в городе Игорь попросил отца записать его в секцию вольной борьбы.

Пошли вместе в недавно построенный огромный спорткомплекс, где какими только видами спорта ни занимались. Нашлась и борьба. Только не вольная, а классическая.

— Вольной у нас в городе нет. Да вы давайте, к нам записывайтесь, — говорил тренер, оглядывая и Игоря, и его отца.

Александр Васильевич вопросительно глянул на сына, тот пожал плечами и всё же сказал: “А дедушка говорил — борьба вольного стиля”.

— Да что ты заладил — “вольного стиля”, “вольного стиля”, — взорвался вдруг отец, ему-то вообще вся эта затея не очень нравилась, только что не хотел обижать сына, да и отца...

— Подождите-подождите, — подал вдруг голос второй тренер, постарше возрастом, до этого равнодушно, казалось, сидевший за столом и что-то писавший в толстой тетради. — Вольного стиля, говорите. Так ведь так раньше самбо называли. Ага. Я сам этим вольным стилем занимался, и тогда тоже всё с вольной борьбой путали. Самбо-то — это уже в пятидесятые годы название придумали. К самбистам вам надо!

Первый тренер, кажется, осуждающе глянул на старика.

— Пусть идут к самбистам, Николаич, пусть идут, — ответил на этот взгляд старый тренер.

В этом же спорткомплексе и самбисты занимались. Попали как раз на тренировку. Игорь и сам не понимал — почему, но с первого же взгляда полюбил этот спорт.

Скоро он втянулся в тренировки. Появились и первые успехи на соревнованиях...

Очень хотелось ему, чтобы приехали на следующее лето воркутинские братья. Но почему-то больше они не приехали — ни на следующее, ни позже, никогда...

А теперь тренер Игорь Александрович Игнатьев всё чаще задавал себе вопрос: а что такое спорт, нужны ли им такие уж серьёзные занятия? Для здоровья полезнее физкультура. А что спорт характер воспитывает — это точно. Но он может развить не только лучшие, но и худшие черты характера — самонадеянность, культ грубой силы. Разве нет? Да и та система спорта, которая складывалась в последние годы, всё больше не нравилась ему. Хотя занятия в детско-юношеской спортивной школе ещё были бесплатными для ребят, но уже приходилось им самим (родителям, конечно) и форму покупать и, зачастую, поездки на соревнования оплачивать. И уже не редкостью были случаи, когда ребята из небогатых семей, даже и очень способные, прекращали занятия именно по этой причине. И это совсем не устраивало его, Игоря Игнатьева...

Более того, Игорь понял, что его всё больше не устраивает сам образ жизни в городе, хотя и был он абсолютно городским человеком.

Разве это нормальная жизнь — в бетонной клетке, где за стенкой — та-

кая же клетка? И раздражает то громкая музыка из-за стены справа, то стоны больного старика слева... И он уверен, что так же раздражает кого-то не тихая жизнь его семьи. Заставленный машинами двор. Вечно вывороченное нутро помойки у забора, пыль и грязь летом. Слякоть и снежно-водяная мешанина — осенью, зимой и весной... Транспорт, машины, которые, кажется, уже гораздо важнее, главнее не то что пешеходов, а даже тех людей, что управляют ими... Эта постоянная скученность, эта невозможность полной тишины, натуральной, без электроподсветки ночной темноты, мёртвая вода из водопровода... Эта невозможность побыть одному, а человеку иногда нужно побыть одному в своём доме... Невозможность даже в этой тесноте рожать детей...

Если бы он мог выбирать — вот такая жизнь в городе или жизнь в деревенской избе, пусть и без городских удобств... Да только здоровье сына, а чистый деревенский воздух и чистая вода — это главное для здоровья, был уверен Игнатев, только один этот аргумент перевешивает все остальные...

Бросить бы всё, да и уехать жить в деревню. В Ивановку, на Красный Берег.

А что нужно, чтобы жить там? Возможность заработать на пропитание и возможность учиться для сына... Кажется — не так много, а непреодолимо. А давно ли в Воздвиженьи школа была, ещё его отец там учился. И ведь выучился — профессором стал. Ну, вот появилась возможность работать у фермера, можно бы и другую работу придумать. А там, глядишь, и школа бы появилась, если бы люди-то жили...

Вот такие мысли-мечты всё чаще посещали Игоря Александровича Игнатёва.

И вдруг позвонил Андрей. Сказал, что завтра к обеду с женой планируют быть у них в городе.

— Вы-то не хотите в Ивановку съездить? — спросил Андрей.

— Хотим, — ответил Игорь и улыбнулся.

...И вот — едут. Игорь — на переднем сиденье рядом с Андреем, женщины и Колька — сзади. Жёны их сразу общий язык нашли — всю дорогу болтали. Колька за долгую дорогу от Москвы уже умаялся, часто просил у матери пить, открыть форточку, ещё чего-то, а потом задремал.

Андрей и Игорь молчали. Но молчание их не было тяжёлым. Кажется, впервые со времён детства делали согласное дело — совсем не такая нынче поездка получалась, как тот давний совместный поход в Ивановку...

4

...И стало в тот вечер в Ивановке неожиданно многолюдно и шумно.

Вынесли на улицу стол, выставили снедь и питьё. Александр Васильевич Игнатёв, его сын Игорь, жена его Галина, Андрей Игнатёв, его жена, Николай Моторин и его жена Ольга, работавшие у Моторина семейная пара из Заозёрной — Иван и Ирина Коншины, тракторист из Жукова Семён Кукушкин, Володя Сапогов — мастер на все руки (бывший житель Воздвиженья, а потом Жукова, а теперь — постоянный житель Ивановки — он занял пустующий домик неподалёку от моторинский фермы), молчаливый таджик Саша (его настоящего имени никто, кажется, и не знал — сложно выговаривать, да он и сам себя Сашей называл), поработавший какое-то время в колхозе в Жукове и тоже почему-то перебравшийся к Моторину... Да ещё ребяташки: Мишка, Маринка, Колька...

— Вот, думалось — всё, умерла Ивановка, захирел Красный Берег. Ан, нет — вот нас сколько тут. И все мы здесь не чужие... — говорил Александр Васильевич. — Я уж большую часть жизни в городе прожил, думалось по молодости — всё, распрощался навек с деревней. Стеснялся, бывало, и сказать, что я деревенский, а чем старше, тем больше сюда тянуло. И притянуло. Родина... Земля моя... Я вот подумаю, да и поселюсь тут. Мне уже не надо ни газа, ни ванны, а вот эту реку и это поле надо... — Он вроде бы ещё и не выпивал, но был будто бы не совсем трезвым, и Игорь с опаской посматривал на отца — больно уж разволновался...

— Так и давайте за нашу родину, за Ивановку! — не вытерпел, видно, долгой и сбивчивой речи Моторин и поднялся с полной рюмкой. Жена толкнула его ногой под стол, но тоже поднялась следом, и все встали, чокнулись рюмками. Даже таджик Саша.

Неожиданно разговорилась жена Андрея:

— Я такой красоты нигде не видела! Это же чудо! Андрей, а дом твоего деда не сохранился?

— Нет, я же говорил...

— Ну, давай купим какой-нибудь, будем приезжать, это же чудо...

— Берите любой, да и живите, у большинства домов никаких уж хозяев, поди-ка, нет, — откликнулся Моторин.

— Вы к нам в Заозёрье приезжайте, вот там можно отдохнуть — тишина, покой, а то здесь-то скоро, как в Москве, не протолкнуться будет, — то ли серьёзно, то ли в шутку сказал Иван Коншин...

Ольга Моторина затянула вдруг “Окрасился месяц багрянцем”, и муж подхватил, а все остальные подтянули, даже, кажется, и таджик что-то подпевал...

Дети тоже будто опьянели от свободы и свежего воздуха — носились и валялись по лужайке.

— Пострелята, давайте-ка дровишки на костёр собирайте, — скомандовал Моторин, и дети с радостью бросились собирать старые доски, палки, полусгнившие колья павших заборов — этого мусора крутом было много...

Зажгли костёр, и сразу ночь потеснила долгий вечер. И небесные звёзды сливались с искрами костра.

Мишка Игнатьев, разомлевший от непонятного счастья, подошёл к отцу и матери, сказал с затаённой надеждой в голосе:

— А я всегда тут хочу жить...

— Да я бы, может, тоже хотел, — откликнулся отец.

— Для начала отпуск здесь поживём, — подвела итог их мечтаниям Мишкина мама.

Александр Васильевич вдруг погрустнел. Моторин заметил это:

— Ты чего, Василич?

— Отца-то увёз я отсюда, каково ему было в городе-то помирать...

— Ну, ты это... Не надо... Давай-ка ещё по грамульке...

Неожиданно общее внимание привлёк Володя Сапогов, до этого больше молчавший:

— Я думаю, чего... Это, Николай Петрович, — Моторину кивнул... — Это... Александр Василич... — на Игнатьева взглянул... — Это... думаю... Пока много-то нас — давайте камень на место поставим, Марьян-то... А чего — Красный Берег, дак... Пусть всё, как было... Старики-то рассказывали, это...

— Точно! — первым поддержал его почему-то Андрей Игнатьев. — Господин фермер, придётся вашей техникой воспользоваться. Но я готов возместить — горючку там, амортизацию...

— Да ты чего, обидеть хочешь... — махнул на Андрея Моторин и поднялся, возвысил голос. — Решено — завтра ставим Марьян камень на место. Святу месту пугу не бывать...

И конечно, в ночи и в гвалте общего разговора никто не видел и не слышал, как плыла от Воздвиженского к Красному Берегу лодка...

— Здравствуйте всем! — громко поздоровался Сергей Куликов, неожиданно вышагнувший из темноты в свет костра.

— О! Сосед, садись, молодец, что пришёл. Налить ему!..

— Я, извините, сразу о деле скажу, а потом уж...

— Какие сейчас дела, ты что...

Но Куликов твёрдо повторил:

— Дело у меня, мужики... И женщины тоже, — добавил он, смутившись. — Я в храме-то, под досками, крест нашёл. Старый, надкупольный. Целый абсолютно. Чугунный. Я покрасил его золотянкой... Да это ладно... Купол-то целый почти, там сбоку только прореха, я забирался, приготовил всё... Надо бы крест-то поднять, — окрепшим голосом сказал. — А то живём без креста. Давайте все вместе, земляки... — обвёл стол взглядом.

— Мы хотели завтра камень... — начал кто-то.
Но встал Александр Васильевич, сказал твёрдо:
— Камень — это память, крест — это жизнь. Завтра будем ставить крест.

Приближение (вместо окончания)

...Во тьме, в бесчувствии, в небытии — толчок. И сладкая боль из точки, из самого центра этого толчка. Неосознанно разгибается нога — какая томительная, сладкая боль... Пелена сходит с глаз, и он уже видит, чувствует тьму, в которой находится. Он делает первый шаг. Он скрипит всеми сочленениями... И — свет впереди, и живой воздух волнами наплывает... Золотисто-зелёное, изумрудно-сверкающее впереди... Превозмогая боль, медленно, скрипя — вперёд к свету...

...Василий Семёнович Игнатъев, с трудом переставляя ноги, опираясь о стену, прошаркал по больничному коридору к двери. С трудом, навалившись всем телом, открыл. С крыльца помог ему спуститься какой-то мужчина... Сел на ближнюю пустую скамейку...

...Он озянул от воздуха, от света. Прикрыл глаза и какое-то время не двигался, вбирал в себя солнечное тепло, запахи, забытые звуки жизни...

А ведь не верилось, что доживёт до весны. Дожил.

Был он когда-то сильным мужиком, а сейчас — кожа да кости. Он сидит на скамейке, склонившись, упёршись руками в колени. Синие, застиранные штаны коротки, и видны бледные, сухие, как палки, ноги. Кисти рук опутаны бледно-голубыми вздутиями вен. На левой руке — плохо различимая старая наколка.

Открыв глаза, он увидел между тоненьких, едва проклонувшихся травинок жука. Он был толстый, усатый, чёрный с отблеском.

Подобие улыбки скользнуло по губам.

— Ну, здравствуй...

...Жук почувствовал какую-то внешнюю, неодолимую, высшую силу, оторвавшую его от земли и опустившую на что-то шершавое, тёплое, в золотистых травинках или усиках. Он сделал несколько шагов, прощупывая путь перед собой чёрными усами, преодолел синее вздутие и застыл, чувствуя тепло — сверху, от солнца, и снизу, от того, на что опустила его та неведомая сила; и это тепло было частью той неведомой силы... И ещё он почувствовал, сперва самыми кончиками всех своих ножек, а потом всем своим существом, толчки — тук-тук-тук... И жук будто попал в поле этого движения-звука, сам стал частью этой пульсации, слился с нею...

...Жук шевельнул усиками, он чувствовал, как что-то наполняет его, будто часть той высшей силы переливалась в него... Он сделал несколько шагов и вновь замер, вновь попал в этот ритм — тук-тук-тук...

Жук шевельнул руку, и Василий Семёнович снова взглянул на него. И вспомнилось...

Было ему девять... нет, десять лет. Всю зиму он тяжело болел. Однажды сквозь бред услышал, как мама за тонкой дощатой перегородкой спросила у доктора (потом уже думал — откуда же взялся в их деревне доктор?... из города с какой-то оказией приехал?): “Что ему можно давать?” — “Что попросит, то и давайте”. Позже понял он, что это был приговор. И он попросил тогда почему-то козьего молока (хотя у них была корова), и мама купила, принесла от соседей. С тех пор ни разу он не пил такого вкусного молока... А тогда пошёл на поправку. И настал день, когда он вышел на крыльцо. Старшая сестра Полина и мать, наверно, работали в поле. А он будто заново узнавал мир. И мир этот радостно — солнышком, первой травой, клейкими листиками, тёплым ветерком — встречал его. Он спустился с крыльца на землю, сел на скамейку. И увидел жука. И жук тот поразил его. В нём, в жуке, будто собралась тогда вся одновременно и сложная, и простая тайна мира, жизни... Лапки, усики, начинавшие медленно, с ви-

димым усилием, раздвигаться чёрные с отливом надкрылья... Он взял жука на ладонь, тот сперва замер, потом прополз немного. И вдруг с треском развернулись чёрные створки, радужно сверкнули прозрачные крылья, и жук взлетел... И тогда он, Васятка Игнатьев, узнал, что жизнь его будет долгой и интересной, он будет хорошо учиться в церковной школе, потом, может, в уездном училище, станет учёным, в городе будет жить... И ведь забыл потом всё... Ну, не он, так сын его в городе живёт, вот и его всё же в город привёз... Хотя лучше бы уж дома... Там...

Вспомнилось, как пришёл после второго ранения домой. Сразу и председателем поставили. Как же стыдно-то было, что вот он вернулся, пришёл к жене и ребёнку... Потому что из всей Ивановки ушли сорок человек, а вернулись трое...

И дальше — жизнь, работа, работа, работа... А для чего? Если день за днём видел, как умирает родная деревня, будто неодолимый рок сбывается... А он всё жил... Вот и до этой весны дожил, солнышко видит, траву, скоро, поди-ка, сын Александр проведать придёт. Может, и внук Игорь...

...Жук почувствовал, как то, что копилось в нём, сжалось в точку и вырвалось наружу — распахнулись надкрылья, расправились лёгкие крылышки...

Жук летел прямо на солнце. И стал он чёрной точкой, а потом исчез совсем. Улетел в свою жизнь, чтобы исполнить то, для чего и явлен в сей мир.

...”Так для чего же я-то жил?! Ведь всё уже, всё уже...” И увидел перед собой разлившуюся в весеннем половодье родную реку...